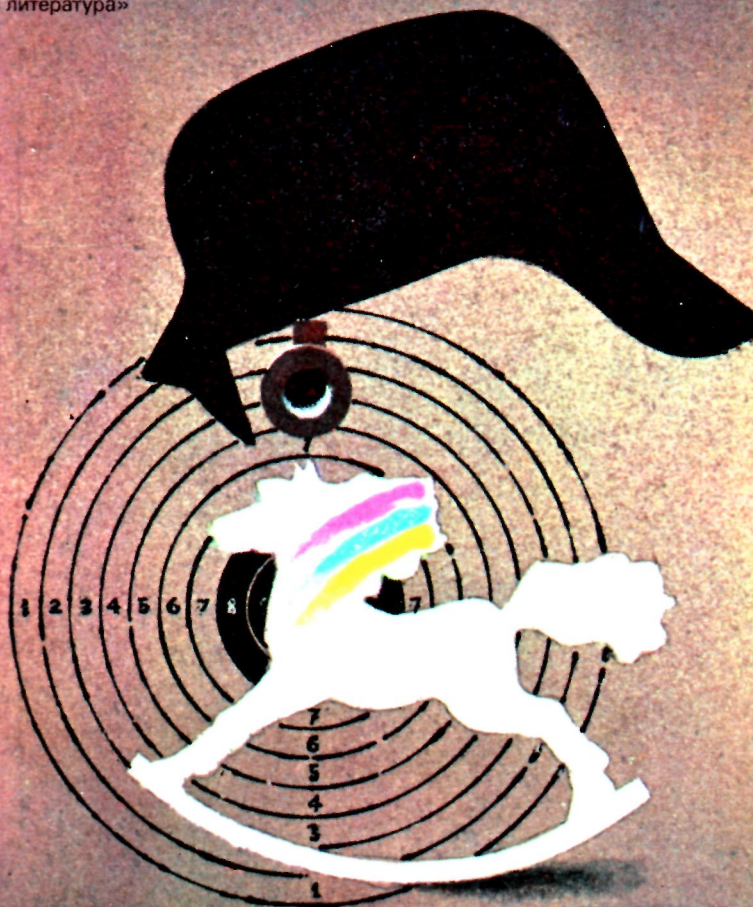


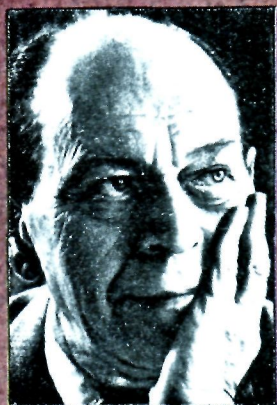
ИЛ

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Иштван Эркень

Путь к гротеску





ИШТВАН ЭРКЕНЬ (1912–1979) — известный венгерский писатель, драматург, лауреат премии им. Кошута. Первый сборник рассказов "Пляска моря" вышел в 1941 г. В послевоенные годы изданы: очерк "Люди лагерей" (1947), пьеса "Воронеж" (1948), роман "Супруги" (1951), несколько сборников рассказов. И. Эркень получил мировую известность

как автор пьес "Кошки-мышки" (1966), "Семья Тотов" (1967).

Советский читатель впервые познакомился с творчеством И. Эркенья по публикациям журнала "Иностранная литература" в 1970 г. Избранные произведения И. Эркенья вышли в издательствах "Прогресс" (1971) и "Художественная литература" (1981).



Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

ÖRKÉNY JSTVÂN

Иштван Эркень

Путь к гротеску

Рассказы

*Перевод с венгерского и
предисловие Т. Воронкиной*

*Составление О. Кокорина и
А. Ковача*

**Москва
«Известия»
1984**

И (Венг)
Э78

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Рецензент В. А. Васильев

*Обложка и иллюстрации художников
Л. Бельского и В. Потапова*

© Örkény István, 1980

© Оформление, составление, перевод на русский язык издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1984

Предисловие

«Родился я в 1912 году в Будапеште. Отец мой был аптекарем, мать — превосходной домохозяйкой, сохранившей это умение до конца дней своих... Сочинитель, говорите? Воля ваша, но уже в самом этом слове есть нечто подозрительное. Немало мы их повидали на своем веку, сочинителей этих. Забежит, бывало, эдакий щелкопер в аптеку за пиллюлями, и покупке-то всей — грош цена, а он и ту норовит в долг забрать... Ладно, сказал отец, хочешь стать писателем — пиши. Но прежде хотелось бы ему хоть краем глаза взглянуть на мой диплом провизора.

Сказано — сделано, через четыре года отец держал в руках диплом, подтверждающий, что его сын стал провизором. Для меня открылась пора радужных мечтаний, но тут последовало новое условие отца: чтобы встать на ноги, мне нужен второй диплом — инженера-химика. И я стал инженером-химиком — в обмен на пять лет своей жизни. Едва успел увидеть свет тощенький сборничек моих рассказов, как началась война.

Между мною и писательским столом всегда оказывалась какая-нибудь помеха, и, чтобы обойти очередное препятствие, требовалось, как правило, лет пять: война, плен... Откладывать было некуда, и я начал писать. Я писал романы, рассказы, хватался за пьесы, брался за киносценарии. Поначалу все, что выходило из-под моего пера, получалось в эдакой легкой, гротесковой манере, потом манера моя год от года все утяжелялась и утяжелялась, пока не забуксовала окончательно под собственной тяжестью.

И наконец в зрелую пору жизни, когда юные годы стали для меня далеким прошлым, мне все же удалось возродить в себе многое из давних, юношеских склонностей моей натуры: склонность к юмору, гротеску, к отображению комического и трагического. В этот период были опубликованы мои повести и короткие рассказы, более известные как «рассказы-минутки», потому что некоторые из них укладывались

строчек в десять, а иные и вовсе выходили короче вполовину. Добавлю еще, что первой моей пьесой, шагнувшей на театральную сцену, была «Семья Тотов».

В рамки этой шутовой автобиографии укладываются основные моменты жизни и творческой деятельности Иштвана Эркеня (1912—1979), видного венгерского современного писателя, драматурга, лауреата премии имени Кошута: успешное начало писательской карьеры в предвоенные годы и ее последующий вынужденный перерыв; период нелегких творческих поисков и окончательное обретение своего писательского «я», снискавшего Эркеню широкое признание в его родной стране и за ее рубежами. Талантливый мастер сатиры и гротеска, И. Эркень обращал грозное оружие смеха против всего, что мешает людям жить достойно своего высокого человеческого звания: против насилия и социальной несправедливости, лжи и фальши, обывательского равнодушия и моральной беспринципности. Активная деятельность человека, стремящегося преодолеть недостатки как собственной природы, так и окружающей действительности, активное сопротивление насилию и социальному злу, вера в неизбежное торжество гуманизма — таков общественный пафос его творчества.

Через всю свою жизнь И. Эркень пронес глубокую, убежденную ненависть к фашизму, к его отвратительной, античеловеческой сути и в борьбе с этим жесточайшим порождением нашего века успешно использовал в качестве оружия меткое писательское слово. Советскому читателю, знакомому с повестью «Семья Тотов» и прежде публиковавшимися рассказами на антифашистскую тему, небезынтересно будет прочесть сейчас один из наиболее ранних рассказов Эркеня «Море волнуется...», который сам писатель считал программным в своем творчестве и даже дал такое название первому сборнику рассказов, вышедшему в свет в 1941 году. Чудовищную, гротескную картину победы безумия над разумом и не назовешь провидческой: автор, можно сказать, делал зарисовку с натуры. Беспощадная, разнузданная стихия уже захлестывает мир волной коричневой фашистской чумы, и лишь сознательные, организованные силы социального, человеческого добра и

разума способны противостоять ей, оказать должный отпор. А дабы у читателя не оставалось сомнения в смысле аллегории, автор безошибочной приметой смело вводит в рассказ такую деталь: один из главарей вырвавшихся на волю сумасшедших — шизофреник, толстяк Геринг.

Эркенъ неоднократно говорил, что важнейшим событием, повлиявшим на формирование его мировоззрения, на отношение к жизни и к людям, была война. К теме войны в различных ее аспектах писатель возвращался во многих своих произведениях. «Когда же настанет конец войне?» — страстный, наболевший вопрос, не перестающий мучить поколения людей, переживших это страшное бедствие, последствия которого продолжают сказываться еще много лет спустя. Упорным, самоотверженным трудом можно восстановить дома и заводы, наладить разрушенное хозяйство. Но как залечить душевные раны? Ведь война калечит души так глубоко, что даже спасительное, врачующее время оказывается здесь бессильно.

Непримиримому осуждению подвергает автор безразличие, равнодушие. Это — казалось бы, безобидное — человеческое качество, возведенное в степень общественного зла, способно творить чудовищные преступления. При молчаливом попустительстве равнодушных совершаются предательства и убийства, развязываются войны и мировые катастрофы. А ведь с какой «мелочи» порой все начинается! В рассказе «Последний поезд» дается тончайшая психологическая зарисовка — анализ истоков подобного рода бездушия и эгоизма. Среди ужасов войны девушка в белых кружевных перчатках, воплощение чистоты и красоты, умудряется жить в нереальном, вымышленном мире, отгораживаясь от действительности, даже когда та насильственно вторгается в ее судьбу. Девушка не отдает себе отчета, что в ее жизни произошло чрезвычайное событие: она встретила и потеряла близкого человека, упустила свой шанс на любовь и счастье. Не понимает она, что лейтенант, оставшийся на вокзальном перроне, обречен на расстрел за дезертирство. Ей кажется, что она едет навстречу новой, лучшей жизни, и поэтому она ни на миг не задумывается над вполне реальной опасностью, которая грозит и ей. Ведь медно-

красные жандармские перья, которые кружат на перроне, беря в смертельные тиски лейтенанта, вскоре сомкнутся вокруг таких, как она — людей мирных и далеких от политики, — беспощадным нилашистским террором.

Отвратительно и подло равнодушие обывателей, которым безразлично все, что совершается в мире, лишь бы это не касалось их непосредственно. А если и происходят социальные катаклизмы, величайшие потрясения вроде мировой войны, то в представлении обывателя «не так уж и страшно», когда взрываются бомбы и гибнут люди где-то в другой части земного шара («Что объявляют по репродуктору?»).

Склонность к моральным компромиссам, умение закрывать глаза на неприятные факты и явления действительности и заглушать укоры совести — также отнюдь не безвредные свойства человеческой природы, в определенных жизненных и социальных обстоятельствах способные вызвать цепь далеко идущих последствий. Казик Рутковский, герой рассказа «Царевна иерусалимская», «в сущности хорошо переносил невыясненные ситуации», в целях самозащиты нередко отмахиваясь от щекотливых вопросов. Человек, чуть ли не героически выдержавший ужасы гитлеровской оккупации и заключения в гетто, способный писатель, который мало пишет лишь потому, что некогда взяться за перо, чуткий товарищ для коллег и верная опора для старых друзей, — к такому стереотипу причисляет себя Рутковский и живет, убаюканный этой иллюзией. Однако в какой-то момент вынужденный сопоставить эти свои представления с неприкрытой действительностью, он убеждается, что всю жизнь обманывал себя и тем самым предавал своих близких: не уберег от гибели сына, подтолкнул к смерти жену, изменил дружбе с Барбарой, да и в творческом плане добился немногого. Печальный конец Рутковского — это закономерный крах человека, не пожелавшего вовремя должным образом оценить свои поступки и привести их в соответствие с действительностью. От собственной совести никуда не уйдешь, она непременно настигнет — голосом давно погибшего сына, проникновенным взглядом когда-то любимой женщины или гротескным видением старухи, качающейся на

детской лошадке. Автор не знает жалости к своему герою: сам как бы отторгший себя от людей, Рутковский и в последние мгновения жизни обречен на одиночество.

В одном из своих выступлений, говоря о задачах писателя, И. Эркень подчеркивал, что его пером водит не абстрактная любовь к людям вообще, а к своему народу, интерес к его судьбе. Вероятно, поэтому в его творчестве отчетливо звучит и мотив ностальгической привязанности к отечеству — как бы в предостережение тем, кто в силу тех или иных причин решается оставить родину. Автобиографический, почти документально короткий рассказ «Магнитофонная запись» исполнен шемящей тоски по родным корням и неприятия чужой почвы; сколь бы плодотворной она ни казалась, а выходцу из других краев на ней не прижиться. Мягким юмором окрашено отношение писателя к старикам Прохоцки, героям рассказа «Сибирская куница». Жизнь, полная скитаний, бед и унижений, ждет их на чужбине, в то время как дома и родные стены придают силы и уверенность в себе и своем будущем.

В объеме короткого предисловия нет возможности подробнее анализировать мотивы творчества И. Эркенья. Что же касается его излюбленной творческой манеры: предельной экономии, лаконизма художественных средств, умелого применения параболы, сатиры, гротеска, — то тут мы намеренно предпочли предоставить вводное слово самому писателю, который в различных выступлениях, беседах, интервью постоянно возвращался к этой теме. Высказывания Эркенья по творческим проблемам выбраны нами из его книги «Диалог о гротеске», само название которой весьма характерно для отношения Эркенья к писательской деятельности, к читательской аудитории. Современный читатель, по мысли Эркенья, своей информированностью, развитой фантазией, богатым опытом человека XX столетия, настроенностью на одну волну с писателем является неотъемлемым участником творческого процесса, подобного диалогу одинаково заинтересованных собеседников. Предлагаем читателю принять активное участие в этом диалоге.

Т. Воронкина

О гротеске

*Быть человеком — величайшее предназначение,
какое только известно в нашей вселенной.*

Странное дело: хотя я и пишу в гротескной манере, у меня нет законченной теории на этот счет. Да ведь я и не теоретик. Конечно, я ломал голову над тем, что такое гротеск, но, к сожалению, так и не достиг удовлетворительного результата. Мне думается, что гротеск, собственно говоря, — это реакция XX столетия на XIX век и предшествующие времена. В прошлом веке человек с гордостью заявлял, что он живет в мире, который понимает до тонкостей и может объяснить, и жизнь его проходит под знаком морали, которой чужды тяжкие прегрешения, чужды низость и подлость, чужды темные силы инстинктов.

Основополагающим переживанием для меня была война. А для тех, кто пережил войну, один лишь факт, что с ясного неба неожиданно может обрушиться нечто способное взрываться и убивать людей, является парадоксом, который противоречит какой бы то ни было реальной действительности. То, что я попытался изобразить в подлинном своем виде, было открытым отрицанием человеческого инстинкта жизни, дерзким плевком в лицо. Самыми разнообразными способами, с самых различных сторон я пытался отразить это достоверно-убедительно для ума и сердца, но всякий раз чувствовал, что намерение свое мне удалось осуществить лишь наполовину. И тогда медленно, совершенно эмпирически, в ходе работы я шаг за шагом стал приближаться к гротеску. Конечно, у меня и в мыслях нет провозглашать его единственно спасительным и единственно возможным методом изображения действительности, просто я как бы чувствую, что смысл, суть и противоре-

чия нашего времени лучше всего можно сформулировать языком гротеска.

Гротеск — это превращение невероятного в вероятное. Он выдвигает некое абсурдное предположение и подчиняет его столь же строгим законам, как и закономерности реального мира. Стало быть, гротеск создает свой суверенный мир, где, к примеру, действует сила гравитации, но с обратным знаком: оброненный предмет устремляется не вниз, а вверх. (Но с таким же равномерным ускорением, как если бы он падал вниз.) Следовательно, эта по сути своей случайная система координат обеспечивает новый подход к герою, который живет в ней. И таким образом я узнаю о нем другое, новое, узнаю иногда и гораздо больше, чем в привычном измерении реальности.

Конечно, все эти утверждения в равной мере применимы и к сатире, но гротеск и сатира — это не одно и то же. Гротеск, хотя и пользуется средствами сатиры, судьбу своего героя всегда переживает изнутри. Вместо объяснения приведу наиболее известный пример: Чаплин. Мы всегда сочувствуем ему. Принимаем его неуклюжую походку, его житейскую беспомощность, неловкое человеколюбие, неудачную любовь — весь заранее заданный трагизм его судьбы. Иными словами: мы отождествляем себя с героем гротеска, высмеиваем и в то же время любим его. Вздумай я выразить это в виде математического уравнения, у меня получилось бы нечто вроде:

Гротеск = сатира + лирика.

Действительность XX столетия настолько сложна, что к ней возможен самый разнообразный подход и на проблемы века можно дать различные ответы. Именно это — то есть многоплановость явлений и многообразие возможных ответов — способствовало взлету гротеска как метода подхода к действительности. В первую очередь и гораздо прочнее, чем у нас, этот метод завоевал себе место в литературе западных стран. Я читал многие из произведений этой литературы, некоторых авторов я мог бы даже назвать своими друзьями. Но если с точки зрения разработки метода мы идем одним

путем, то ответы наши коренным образом разнятся. Действительность нашей эпохи массово порождает абсурдные ситуации. В гораздо большем нагромождении, чем век девятнадцатый. В отличие от моих западных собратьев по перу я толкую гротеск как ситуацию, которая может быть изменена. Будучи лишен малейших способностей к умозрительному философствованию, я вынужден каждую свою мысль выверять эмпирически, через свой собственный жизненный опыт и практику своего окружения. Жизнь учила меня, — и не раз! — что мы в силах изменить ту или иную ситуацию, сколь бы окончательной и безысходной она ни казалась. Говоря языком шахматистов, в моих глазах абсурдная ситуация еще не мат. Конечно же, тут нет гарантии, что из ситуации, которая держит нас в плену, мы станем — или сможем — пробиваться в верном направлении. Но в доказательство того, что мы можем вырваться из нее, я мог бы привести множество примеров как из собственной жизни, так и из истории моей страны. Если же выражаться попросту, не прибегая к философской зауми, то я верю в действенность человека даже в тех ситуациях, когда объективные условия делают невероятно трудным выбор между правильным и ошибочным решением.

Для меня красота раскрывается через гротескное видение мира. Разумеется, это не мое собственное, а исконно древнее мировосприятие человечества. Все сущее на свете неоднозначно. Поясню на простейшем примере: возьмем самый обычный автобус. Тот, кто на заводском конвейере собирает его, вкладывает в это понятие иной смысл, чем пассажир, который сидит в автобусе, или тот, кто на остановке дожидается автобуса, не говоря уж о человеке, который — упаси бог — угодил под колеса автобуса. Автобус можно нарисовать, можно написать о нем стихотворение, и при этом всякий раз о нем будет сказано нечто совсем другое. Ну, а если ребенок дошкольного возраста вздумает нарисовать автобус, изобразив его с колесами чуть вкривь и вкось, с прогнутой крышей, то на наших глазах возникнет гротескный образ автобуса, потому что ребенок своим метким и свежим глазом увидел в нем нечто иное,

чем взрослые, которые уже привыкли к определенным канонам и теперь с улыбкой взирают на детский рисунок. В гротескном мировосприятии есть некая детскость: волнение, свежесть глаза, неожиданность первооткрытия. Если же на основании всего сказанного мне как писателю потребовалось бы сформулировать определение гротеска, то я сказал бы: все сущее существует впервые. Впервые и единожды, никогда прежде этого не было и никогда после не будет. Лишь в тот момент, когда я смотрю, я впервые открываю это явление. Ну, конечно же, я знаю, что обо всем уже написано — во сто крат талантливее и точнее, чем у меня, однако меня это ничуть не смущает. Если я иду в табачную лавку — второй перекресток от дома, — я отправляюсь в путь, как Колумб. Куда-нибудь да доберусь: в ближайшую табачную лавку, или в дальнюю Индию, или же в Америку. Или же во все три места сразу, ведь я говорил уже, что любое сущее многозначно. И смотрю ли я на мир глазами ребенка или писателя (а одно недалеко от другого), мне думается, что с разных точек зрения я и вижу по-иному и таким образом на пядь или хотя бы на волос приближаюсь к истине, которую беглый гротескный взгляд иной раз выхватит лучше, чем самое сильное увеличительное стекло.

Мне кажется, что человек нашего времени страдает от избытка слов. Ведь начиная с того момента, как утром включаешь радио, и до тех пор, как вечером выключаешь телевизор, отовсюду: из газет, из объявлений, расклеенных в общественном транспорте, из рупоров громкоговорителей и из вечерних световых реклам — обрушивается поток информации. Сто—двести лет назад к человеку зывали гораздо реже, газеты выходили на двух страницах и раз в две недели, но именно потому, что слов было мало, они были весомее и надежнее. Теперь же мы задыхаемся от словесного изобилия, а избытки всегда снижают первоначальную ценность.

Важнейший элемент писательского процесса — это отбор, отсеивание, отказ от лишнего материала. То, о чем я умалчиваю, столь же важно, как и то, что я говорю. Весь вопрос в том,

что замалчивать и в какой степени. Для меня, например, исходной послужила следующая посылка: излишне все то, что читатель и без меня может домыслить. И благодаря тому, что я заставляю работать воображение читателя, его пассивность исчезает, он становится как бы моим соавтором, и чем лучше мне удастся расшевелить его фантазию, тем больше у меня шансов сделать свою мысль его собственной мыслью. Иными словами, я пытался счистить с литературы все, что только можно. — за исключением сути.

Стремясь к экономии художественных средств, я начал писать совсем маленькие рассказы, которые, несмотря на это, являются полноценными: у них есть начало, середина и конец, в них всегда что-то происходит, они передают драматическое содержание. Я назвал их «рассказы-минутки». Я попытался достичь такого метода изображения событий, когда нажимаешь лишь на те клавиши, на которые все мы реагируем одинаково. Значит, я не рассказываю истории в повествовательной, эпической манере, а стараюсь вызвать определенный резонанс; то есть я стремлюсь уловить этот резонанс в самом себе — в надежде, что и другие отзовутся на него. Возможно, «рассказы-минутки» родились потому, что я попросту ленился писать более длинные рассказы, хотя эта моя лень носила спекулятивный характер.

Если произведение не способно потрясти, удивить или рассмешить читателя — это не литература. По-моему, в моих произведениях не столь необычна их краткость, сколь гротескная манера.

Я уже писал однажды, что единственным выходом, единственной надеждой нашей человеческой жизни является активное действие. Я верю в деятельного человека, я вообще верю в жизнеспасительную сущность деятельности, хотя и хорошо знаю, что она упирается в трагедию нашей индивидуальной жизни, ведь биологически все мы обречены. Я верю даже в напрасную деятельность, поскольку субъективно она нам тоже кое-что дает. Но я оптимист по натуре, мир видится мне в светлых тонах; что же касается моей философии, то это философия активного действия.

Последний поезд

Город — далеко внизу, у подножья леса — казался почти вымершим. Пустые дома на пустых улицах; слепые глазницы окон отражали сияние послеполуденного солнца. И только у вокзала наблюдалось кое-какое движение, а перрон буквально кишел беженцами. С гор время от времени долетала артиллерийская канонада; тревожный гул волнами прокатывался по толпе, поновому перетасовывая ее и смыкая плотнее, — так волны утрамбовывают прибрежный песок. Пучком травы лейтенант счистил грязь с сапог и спустился по крутому склону вниз.

Он сделал немалый крюк, чтобы попасть к буфету, но буфет был уже закрыт. Пройдя чуть дальше, он протолкался в привокзальный ресторан, но и здесь посетителей не обслуживали. За столиками расположились зажиточные семейства; эти люди доставали дорожные припасы не из узелков, а из кожаных саквояжей, поблескивавших монограммами, и запивали еду черным кофе из термосов. Лейтенант вернулся на перрон и отыскал табачный киоск. Здесь тоже было пусто, весь товар — несколько выцветших почтовых открыток с видом местной римско-католической приходской церкви, памятника Бему * на фоне сбегающей кассы и обзорной вышки.

Однако продавщица находилась на месте; она подкрашивала губы, а глаза у нее были заплаканные.

— Сигарет не осталось? — спросил лейтенант.

— Только те, что в витрине.

— Они же, наверное, не продаются.

— Шутник в ы, — женщина подняла на него мокрые от слез глаза. — Как по-вашему, для кого я их придерживаю?

Двое суток у него не было во рту сигареты. Он скупил все,

* Бем, Юзеф (1794—1850) — полководец венгерской революционной армии в 1848—1849 гг.

что завалилось в киоске, рассовал пачки по карманам, закурил, жадно затянулся.

— Будет еще какой-нибудь поезд? — небрежно поинтересовался он.

— Разве что на В а р а д , — ответила продавщица.

— А когда он отправляется?

— Вроде бы сейчас, — сказала продавщица. — Но жандармы снимают с поезда всех, кто в военной форме.

— Я ведь спросил просто так, — пояснил лейтенант. — Моя дорога — на фронт.

— Туда дорога открыта, — сказала продавщица и на миг задержала на нем взгляд своих заплаканных глаз. — Дело в том, что штатской одежды у меня больше нет.

— К чему мне она? — устало бросил он.

— Все, что от мужа осталось, я уже раздала.

— Какая разница, — махнул рукой лейтенант. — В Вараве снова прочешут весь состав.

— И все-таки в штатском можно скрыться, — сказала продавщица.

— В штатском — пожалуй, — согласился лейтенант.

Он поймал себя на том, что пальцами левой руки нервно барабанит по прилавку, и поспешно отдернул руку. Тут он почувствовал, что взгляд его беспокойно перебегает из стороны в сторону. Сделав над собой усилие, он повернулся лицом к толпе и, словно человек, которому больше нечем заняться, со скучающим видом принялся разглядывать публику. В этот момент он и заметил девушку.

Сначала он увидел лишь смугло-коричневое пятно. Затем — загорелое юное лицо. Затем — как в бинокле — черты лица стали четко вырисовываться. Лейтенант видел теперь, что девушка очень красива. Такой красивой он, пожалуй, еще и не встречал. Ему показалось, будто девушка тоже смотрит на него, хотя, возможно, он ошибался. Может, она высматривала поезд. А может, и вообще ничего не высматривала. И все же человек даже издали способен почувствовать на себе чей-то взгляд.

— В крайнем случае можно спрятаться под угольными брикетами, — сказала продавщица.

— Спасибо за подсказку, — рассеянно поблагодарил лейтенант.

— А кто половчей, тот ухитрится вскочить на ходу, — не унималась продавщица.

— Особой ловкости тут и не требуется, — заметил лейтенант, не сводя глаз с девушки.

— Тогда действуйте, — откровенно подгоняла его продавщица. — Чего здесь без толку околачиваться?

Он распрощался с продавщицей. Слезы у нее высохли, зато помада некрасиво расплзлась на губах. Лейтенант направился к девушке.

— Куда же вы пошли? — окликнула его продавщица и даже высунулась из окошка. — Вам надо совсем в другую сторону!

Лейтенант заранее присмотрел поставленный на попа ящик у той скамейки, где сидела девушка. Протолкавшись туда, он опрокинул ящик и сел. Краешком глаза он увидел, как у девушки дрогнули руки. На ней были надеты белые кружевные перчатки, и сквозь дырочки темнел загар.

Какое-то время он не решался заговорить. Даже взглянуть на нее и то не решался, и девушка тоже смотрела куда-то в сторону. Их глаза подчинялись некоему внутреннему запрету, словно, встретившись взглядом лишь на мгновение, они могли бы вызвать непредвиденные, роковые события. Молодые люди сидели очень близко, почти вплотную друг к другу: даже острию топора было бы не вклиниться меж ними... Лейтенант раздавил окурок и закурил снова, но прежде чем спрятать спички в карман, по привычке встряхнул коробок. Привычный звук словно вернул ему силы; чуть наклонившись к девушке, он едва слышно, как бы про себя произнес:

— Меня зовут Альберт Отт.

Девушка ничего не сказала. Она не шелохнулась, лишь чуть заметным движением подобрала пальцы к ладони.

Лейтенант помолчал и немного погодя прибавил:

— Мне ничего от вас не надо, просто поговорите со мной минутку.

Ответа снова не последовало. Лейтенант опять выждал не-

много. На этот раз заговорить оказалось еще труднее: неудача подорвала в нем остатки самоуверенности.

— Назовите хотя бы ваше и м я , — взмолился он.

Птица, готовая вспорхнуть, не меняет положения тела, и все же мы знаем, что вот сейчас она взлетит. Девушка не шелохнулась, но мускулы ее напряглись и изготавились к движению. Лейтенант испугался и быстро заговорил:

— Ни о чем не стану вас спрашивать, только не уходите. Взгляните на меня — хоть раз, и я, честное слово, оставлю вас в покое.

Девушка, заметно поколебавшись, медленно повернула голову и посмотрела на него. Это движение стоило ей таких усилий, точно мраморная статуя возрождалась к жизни, зато лейтенант наконец смог увидеть ее лицо совсем близко.

— Спасибо, — сказал он.

Осенняя пора была в самом разгаре. Стекланный купол перрона золотило послеполуденное солнце, и каштаны по другую сторону железнодорожных путей тоже облачились в золотой убор. С гор доносилась артиллерийская канонада, будто где-то далеко разрывалась и лопалась земля, но сейчас даже пальба не вызывала никакого страха. У лейтенанта пересохло в горле; такой красавицы, как эта девушка, он еще не видал. Смуглая кожа ее светилась в лучах нежаркого солнца и словно сама была сродни этому лучистому солнечному сиянию. Лейтенанту больше ничего не хотелось, только бы сидеть здесь и смотреть на нее. Только бы не кончалось оно, это мгновение.

Но в этот момент толпа, все множившаяся числом и у края перрона сбившаяся в плотную, однородную массу, вдруг подалась в стороны и распалась, давая дорогу вооруженному патрулю. Показались шестеро солдат с примкнутыми штыками; на шее у каждого полукруглая бляха с надписью: «Полевая жандармерия». Возглавлял патруль тощий очкастый прапорщик. Бляхи на нем не было, да и весь его облик не производил воинственного впечатления. Он напоминал прыщавого выскочку-школяра, которому хочется отличиться по всем предметам, и именно это тщеславное стремление и было в нем самым опасным. Глаза его непрестанно рыскали. Каждого

человека он изучал дважды: сперва мерил его взглядом с головы до ног, а затем, уставившись в упор, всматривался в лицо. Лейтенанта и девушку он засек взглядом сразу же, однако прошел мимо, затерялся в толпе пассажиров и лишь потом повернул в их сторону. На этот раз он подошел и остановился перед ними. Смотрел он на лейтенанта, но документы потребовал у девушки.

— Ваше имя?

— Ведь там все написано, — сказала девушка.

— Извольте отвечать, когда вас спрашивают.

Девушка услышала, как громыхнул спичечный коробок. Она вспыхнула, но жандарму не ответила. Чуть отстранившись от лейтенанта, она произнесла:

— Мария Барта.

— Имя матери? — продолжал допрашивать прапорщик.

— Паула Либготт.

— Дата рождения?

— Четвертое августа 1926 года.

— Место последней прописки?

Девушка отвечала, а прапорщик продолжал задавать вопросы. За это время трое из шести патрульных обошли лейтенанта сзади, и теперь уже все семеро как бы кольцом охватили его. Они не приближались и не отдалялись. Вроде бы не смотрели на него, но тем не менее стерегли его взглядами.

— Вы вместе? — спросил прапорщик.

Девушка опять покраснела. Чуть подумав, ответила:

— Нет.

— Но вы же разговаривали, — сказал прапорщик.

Девушка призадумалась.

— Я ни с кем не разговаривала, — заявила она.

— Куда вы едете?

— В Будапешт.

— К кому?

— К своей матери.

— Ваша мать живет в Будапеште?

— Нет, — ответила девушка. — Просто она вместе с моими младшими сестрами уехала туда раньше.

— Какой у нее адрес в Будапеште?

— Таможенная площадь, шесть.

— Вам известен этот дом?

— Я жила там, когда училась в школе.

— Куда выходят окна?

— В сторону Цитадели, — ответила девушка.

— Держите, — прапорщик вернул ей документы.

С лейтенантом он был менее любезен. Обращался к нему в третьем лице. Итак, господин лейтенант не знаком с барышней. Господин лейтенант просто забежал купить сигареты. У господина лейтенанта и в мыслях нет уезжать отсюда. Более того, господин лейтенант направляется на передовую.

Дойдя в своем опросе до этого места, прапорщик подступил на шаг ближе. Лейтенант не видел, но чувствовал, что и цепь патрульных сомкнулась плотнее, словно беря его в клещи.

— Где же находится часть господина лейтенанта? — задал прапорщик следующий вопрос.

— Здесь, — сказал лейтенант.

— Где — здесь? — допытывался прапорщик.

— На Главной площади, — ответил лейтенант. — У памятника.

— Какой памятник стоит на Главной площади?

— Я не слишком присматривался, — сказал лейтенант. — По-моему, это памятник Бему.

— Да, — сказала девушка.

— А вы, пожалуйста, не мешайте господину лейтенанту, — одернул ее прапорщик. — Так где же стоит памятник?

— Перед зданием сберегательной кассы, — сказал лейтенант.

— Да, там, — подтвердила девушка.

— Вас не спрашивают, — отрезал прапорщик. — И чем же там занимаются подчиненные господина лейтенанта?

— Ждут, — ответил лейтенант.

— Чего? — спросил прапорщик. — Утреннего благовеста?

— Приказа выступить, — сказал лейтенант.

— А как далеко отсюда находится этот памятник? — был следующий вопрос жандармского прапорщика.

— В десяти минутах ходьбы, — ответила девушка.

— Да замолчите вы! — цыкнул на нее прапорщик. — Не вас спрашивают.

— В десяти минутах ходьбы, — повторил лейтенант.

— Bravo! — воскликнул прапорщик. — Но только ведь и меня на мякине не проведешь. Могу я попросить господина лейтенанта остаться здесь?

— Хорошо, я останусь, — сказал лейтенант.

Прапорщик шепнул что-то одному из своих людей, затем направился к выходу. Девушка оглянулась по сторонам и, не увидев поблизости патрульных, с облегчением вздохнула.

— Ушли?

Лейтенант даже не стал оглядываться по сторонам.

— Ушли, — ответил он.

— Что это был за чин? Унтер-офицер?

— Прапорщик, — сказал лейтенант.

— А к чему он приплел какую-то мякину?

— Он пошутил, — улыбнулся лейтенант.

— Разве ему дозволено с вами шутить?

— Ему все дозволено, на то он и полевой жандарм, — сказал лейтенант.

— И можно шутить даже с лейтенантом?

— А хоть бы и с полковником, — сказал лейтенант. — Вас в семье зовут Марией или каким-то уменьшительным именем?

— Так и зовут Марией, — сказала девушка. — А они и вправду ушли?

Лейтенант сделал вид, будто внимательно осматривается по сторонам. Медно-красные перья на жандармских шляпах то тут, то там выныривали из толпы, неотступно кружа около того места, где сидели молодые люди.

— Точно, — сказал он. — Вы испугались?

— Мне было страшно за вас.

— Очень страшно?

— Немножко страшно, — сказала девушка.

— Неужели вам было не очень страшно за меня? — настаивал лейтенант.

— Очень, — призналась девушка.

— И мне было очень страшно за вас, — сказал лейтенант. —

Очень, очень, очень.

Они помолчали. В руках у лейтенанта гроыхнул спичечный коробок. Лейтенант закурил.

— Как много вы курите, — обеспокоенно заметила девушка. — А я думала, вы дезертир.

— Где вы так чудесно загорели? — поинтересовался лейтенант.

— У нас здесь своя купальня, — сказала девушка. — И вы уедете на фронт?

— Да, — сказал лейтенант. — Вы когда-нибудь были влюблены?

— В своего жениха, — ответила девушка. — Не дай бог, с вами что-нибудь случится!

— Кто он был, ваш жених? — спросил лейтенант.

— Сын аптекаря, — сказала девушка. — Я не пушу вас на фронт.

— Вы порвали с ним? — спросил лейтенант.

— Он женился на другой.

— Почему? — спросил лейтенант.

— Купальня у нас убогая — одно название, — пояснила девушка. — Всего-навсего двенадцать кабинок для переодевания да бассейн сплошь в трещинах, зачастую там и воды даже не бывает. Многие туда вовсе даже и не купаться ходят.

— А зачем же?

— За другим совсем, — сказала девушка и покраснела. — Весь город только и следит, кто с кем на пляж ходит. «Ходить на пляж» у нас означает... Понятно?

— Понятно.

— Меня не очень хорошо приняли в семье аптекаря. А потом стали поговаривать, что где уж, мол, сохранить чистоту тем, кто купальню обслуживает... Только это все неправда. Вы мне верите?

— Верю, — сказал лейтенант.

— Может, они просто выискивали предлог, чтобы подобрать сыну невесту побогаче, — сказала девушка и затем вдруг добавила: — Господи, а почему бы вам не сесть в поезд вместе со мной?

— Потому что нельзя, — ответил лейтенант. — Вы любили его?

В коробке громыхнули спички. Лейтенант закурил. Девушка осуждающе смотрела на зажженную сигарету.

— Наверное, любила не всем сердцем, — произнесла она наконец. — Да и ему от меня только одно нужно было: на пляж сходить — другого у него и в мыслях не было... Но я смогла бы принадлежать лишь тому, кого люблю всей душой и кого назову своим мужем. Вы мне верите?

— Верю, — сказал лейтенант.

— Хочу сначала мальчика, а потом девочку. И ничего страшного, если родятся самые обычные, заурядные детишки. Зато потом пусть родится еще один мальчик, но обязательно в чем-нибудь одаренный.

— В чем же именно?

От старых каштанов упала тень. Девушка, зябко вздрогнув, смотрела на опавшую листву, золотистый оттенок которой теперь отливал багрянцем.

— Это я еще не решила. Лучше, если у него будет талант к музыке, к игре на каком-нибудь инструменте, скажем, на скрипке, или же к пению... Вам что больше нравится?

— Пожалуй, скрипка, — сказал лейтенант.

Девушка задумалась.

— Теперь я тоже к этому склонна, — наконец сказала она. — А я сопровождала бы его на гастроли по всем странам, сидела бы на концерте где-нибудь в последнем ряду и аплодировала вместе со всеми. И ни одна живая душа не знала бы, что в зале находится его мать. Даже и он сам не знал бы.

— Даже он? — изумился лейтенант. — Но почему же?

— Затрудняюсь объяснить. Наверное, чтобы он не волновался. Я, например, перед мамой даже раздеваться стесняюсь.

— И как же вы собираетесь это устроить?

— Понятия не имею. Пожалуй, я ездила бы за ним тайно. И всегда приезжала бы на день позже, когда в газетах уже будут его фотографии.

— Странная вы девушка, — задумчиво проговорил лейтенант. — Вам хотелось бы путешествовать?

— Очень.

— И куда бы вы ездили?

— Куда? Да везде и всюду!

Она облегченно, чуть ли не весело вздохнула.

— Война скоро кончится, и тогда весь мир будет открыт. Путешествуй сколько душе угодно, все равно войне больше не бывать.

— Почему это? — спросил лейтенант.

— Да потому, что войны ведутся из-за границ, а теперь границ больше не станет. А раз не будет границ, то и воевать не из-за чего.

— Вы так думаете? — задумчиво спросил лейтенант.

— А вы разве думаете иначе? — Девушка смотрела на него округлившимися глазами.

— Нет, я тоже так считаю, — после недолгого раздумья сказал лейтенант и отвернулся, потому что физиономия одного из жандармов мелькнула вдруг совсем близко. В руке у лейтенанта громыхнули спички.

А девушка заговорила о том, что и как будет после того, как кончится война. Как тихо станет здесь, на станции. С какой точностью станут ходить поезда. Какой мирный покой воцарится в горах, где сейчас гремят пушки. А затем спросила:

— Ну а у вас какое заветное желание?

— У меня? — задумался лейтенант. — Не так уж много мне и надо.

— Знаю, — улыбнулась девушка. — Для вас главное — сигареты.

— Пожалуй, — согласился лейтенант.

— Что в них хорошего?

— До сих пор я как-то над этим не задумывался.

— Ну а теперь советую подумать, — сказала девушка.

Лейтенант сделал глубокую затяжку и задумался.

— К примеру, хорошо, что они всегда под рукой.

— А еще?

— И свободно умещаются в кармане.

— А еще?

— А еще они хороши тем, что с ними хорошо.

— Надо же до такой премудрости додуматься! — улыбнулась девушка.

— Попробуй додумайся, — тихо улыбнулся лейтенант. — Вам не понять, что это и в самом деле величайшая премудрость. Ведь можно жить и по-другому, не так, как живете вы... Когда у человека нет никого и ничего. Когда все время кажется: вот-вот конец. Еще пять минут, или десять, или четверть часа... И тогда можно закурить, бросить окурочек, закурить снова — чтобы каждую минуту, покуда жив, тебе выпадало что-нибудь приятное.

Он умолк. Девушка тоже молчала. И вдруг бросила на него колющий взгляд.

— Но ведь теперь у вас есть кое-кто, — сказала она.

— Теперь — есть.

— Значит, и в этой гадости нужда отпала.

— Тоже верно.

— Тогда извольте отдать мне ваши сигареты.

Она вывернула у него все карманы. Сгребла пачки в охапку и отдала их толстой цыганке, которая сидела неподалеку на огромном узле с пожитками. Возвратясь к лейтенанту, девушка смерила его взглядом.

— Эту тоже погасите.

Он сделал еще одну затяжку и затоптал недокуренную сигарету.

— Вам не будет без них плохо?

— Нет.

— Стою я одной сигареты?

— Вы стоите в миллион раз больше.

Они сидели и молчали. Тишина в них стала такой глубокой, точно они высказали друг другу все. Молчать было очень приятно. У обоих не было никаких других желаний, только бы сидеть так вечно, до самого конца войны. И вдруг эту хрупкую тишину нарушило какое-то жужжание. Вернее, даже и не жужжание, а какой-то едва уловимый ритмичный шум, точно капала вода. Толпа замерла, притихла, внимательно прислушиваясь, а когда стук колес стал отчетливо различим, внезапно всколыхнулась. Лейтенанта и девушку тоже подхватил этот общий порыв, под-

нял и повлек к поезду; они сразу потеряли друг друга. Лейтенант попытался было пробиться к девушке, но не увидел ее в толпе. Сетки с провизией плыли по воздуху, дети визжали, путаясь под ногами у взрослых, мелкие камешки на путях разлетались, взметаемые бегущей толпой; и эту плотную человеческую ткань, подобно узору крестом, то тут, то там прошивали рыже-красные жандармские перья.

Наконец он отыскал девушку. Высунувшись из окна поезда, она махала ему рукой.

— Подойдите поближе, — сказала она, когда он пробился к ней.

Он приблизился к самому окну.

— Не вас ищут эти солдаты? — шепотом спросила девушка.

Он сказал, что нет.

— Тогда почему бы вам не уехать вместе со мной?

— Потому что нельзя, — сказал он.

— Вы непременно должны вернуться на фронт?

Он сказал, что да.

— А нельзя придумать какой-нибудь предлог? — спросила девушка.

— Какой предлог? — спросил он.

Девушка задумалась. Вдруг лицо ее просияло.

— Нельзя ли, например, взять отпуск? — спросила она.

— Можно попробовать, — сказал лейтенант.

Раздался свисток. Состав дрогнул и пополз с черепашьей скоростью.

— Вот видите! — сказала девушка. — И от кого это зависит?

— От моего командира.

— Он подписывает приказ?

— Нет, — сказал лейтенант. — Подписать должен командир полка.

Он медленно шел вровень с поездом. Вместе с толпой провожающих, с машущими вслед поезду ребятишками, с грудастыми всхлипывающими старухами, с плывущими в прощальном взмахе платками, с ржаво-красными петушиными перьями.

— А он подпишет?

— Не знаю, — сказал лейтенант. Теперь ему приходилось

почти бежать. — Это не только от него зависит.

— А от кого еще?

— От нашего генерала.

— Он очень строгий?

— Нет, не очень, — сказал лейтенант.

— Тогда, значит, он подпишет, — крикнула девушка.

— Вероятно, подпишет, — крикнул лейтенант.

— Почему — вероятно? — прокричала девушка.

— Почти наверняка подпишет, — прокричал лейтенант.

Поезд ушел.

Лейтенант остановился. Тяжело дыша, он махал рукой вслед. Махал до тех пор, пока загорелое лицо девушки не скрылось из виду. Он различал лишь ее руку, единственную золотисто-смуглую руку среди множества серых рук. Затем и рука пропала. Лейтенанту захотелось курить, он полез в карман, по привычке встряхнул коробок. Но сигарет ни одной не было.

Море волнуется...

Все неприятности начались за обедом, когда из рук у Олая выпал нож и, как назло, не черенком, а именно острием ударился о каменный пол. Он издал долгий, протяжный звон, подобно надтреснутому камертону; звук этот вибрировал под столом, раздражающе действуя на нервы, волной прокатывался вдоль позвоночника и гнал кровь к мозгу. Камилла вскочила с места и издала душераздирающий вопль, однако санитар и ухом не повел; он любовался из окна садовыми грядками и дроздом, расхаживающим между грядок. «Орут больные, конечно, противно, — думал санитар, — но в остальном с ними хлопот немного». Дрозд прыгал с грядки на грядку и радовался жизни, а санитар смотрел на него и радовался своей неопасной работе.

— Сядьте на место! — одернул Камиллу Олай. — К чему эти дикие вопли?

Олай плохо переносил шум. Он подвизался юристом, когда разразилась война, и на фронте взрывной волной гранаты его раз и навсегда выбило из колеи. С тех пор в нем вызывал ужас любой звук, напоминающий свист пуль или визг летящих гранат. Камилла же терпеть не могла, когда ее успокаивали; вот и сейчас губы у нее задрожали, глаза выкатились из орбит, она схватила с пола нож и с воплем наслаждения всадила его санитару под лопатку.

Нож, согласно инструкции, был тупой, но хоть и тупой, а нож он ножом и остается. Когда санитар, не пикнув, повалился ничком, все вскочили из-за стола.

Дальнейшие события разворачивались как бы сами собой. У санитаря забрали ключи. Открыли двери, одну за другой,

двигаясь по порядку из отделения в отделение. Из распахнутых настежь дверей — словно нарочно подкарауливали у входа — тотчас прямо-таки вываливались больные. Гул шагов, выкрики, прокатываясь по коридору, отзывались эхом. «Еще одним меньше! Еще одним меньше!» — орал шизофреник Геринг, стоило только откуда-нибудь появиться санитару или врачу; пыхтя и отдуваясь, он бросался на них с рояльной табуреткой и прихлопывал насмерть, как мух на стене.

Больные, освобожденные из запертых помещений, присоединялись к толпе. Некоторые из них выскочили прямо из-под душа и, мокрые, обнаженные, следовали за остальными; иные, одурманенные лекарствами, не успев продрать глаза, пошатываясь, брели в полусне. Корец, которого днем преследовали кошмары, а по ночам мучила жестокая хандра, в этот крайне напряженный момент проявил необычайную находчивость.

— Не можем же мы в таком виде показаться на улице! — крикнул он. — Надо взломать гардероб!

Гардеробная была взломана, и больные хватали одежду без разбора, кому что под руку попадет. Олай накинул дамский халат, украшенный розовыми фламинго, а на голову нацепил пожарную каску, Корец облачился в сутану и, не смущаясь разностилем, пытался подобрать себе шляпу со страусовыми перьями. Камилла отыскала генеральскую шинель, прицепила к поясу зонтик, а в качестве головного убора выбрала лисью шапку вроде тех, которые носят марамарошские старьевщики. По счастью, выбор был огромный, и даже наспех, в суматохе, больным удалось экипироваться весьма эффектно. Главного врача, который неожиданно появился в самый разгар событий, тумачами и оплеухами загнали в дамский туалет и заперли на ключ.

Вся толпа высыпала во двор. На радостях больные не знали, что и делать; Камилла размахивала саблей, император Рудольф тоненьким детским голоском распевал польский гимн, Магомет ползал на карачках, головой подталкивая остальных под зад.

И опять положение спас Корец; он встал у ворот и энергично скомандовал:

— А ну, построились! Нечего время даром терять!

Перепуганный привратник распахнул железные ворота и откозырял. Когда человеческая лавина хлынула на улицу, из левого крыла здания послышался отчаянный крик главного врача.

Впереди в одиночку вышагивал Олай, за ним двигались Корец и Камилла, а следом вразброд тянулась толпа. Геринг, будучи самым тучным, бежал в хвосте колонны и, насилу отдуваясь, пытался удержать остальных. «Нельзя действовать так неорганизованно! Тут недолго и дело загубить, и самим погибнуть!» — заклинал он своих сотоварищей. Однако заниматься организацией не было никакой нужды: ведь толпа подчиняется голосу инстинкта. Вот и сейчас выискались энтузиасты; они поймали такси и крикнули Олаю:

— Встретимся в центре города!

И с этими словами умчались, чтобы успеть охватить крупные государственные дома для умалишенных, психиатрические отделения при больницах и санатории для привилегированных нервных больных. Всюду распахивались ворота, взламывались двери, и людской поток устремлялся к центру города. Спрашивается, нужно ли тут было заранее что-либо организовать? Многие из тех, кто находился на домашнем режиме, даже понятия не имели о начавшемся волнении, но они вдруг вскидывали голову, выбирались из своих кресел, надевали галоши и — прочь из дому! Глаза их лихорадочно блестели, ноздри приплюсывались, жадно раздуваясь. Больные брели к центру города. Толпами прибывало подкрепление с зеленых окраин города и даже из провинции скорыми поездами, следовавшими согласно расписанию. Больные побогаче, которые в это время лечили свой недуг на водах за границей, неожиданно останавливались посреди аллеи где-нибудь в Сан-Ремо или Грефенберге, склонив голову набок, словно прислушивались к какому-то отдаленному шороху, а затем опрометью бежали в ближайшее бюро путешествий. Служба информации у этого восстания оказалась не только надежной, но и дешевой.

К центру города первым прибыл Олай. Геринг реквизи-

ровал открытую подводу, на которой поставляли скот городской бойне; на этой подводе умалишенные и разъезжали по центральным улицам; отовсюду сбегались прохожие, хохоча и отпуская в их адрес нелестные словечки. Олай не обращал на это внимания; подняв голову и скрестив на груди руки, взирал он на скапливающиеся группки прохожих. Через какое-то время он сделал знак Магомету выбросить конфетти, и тут, как и следовало ожидать, у всего этого уличного сброда пропала охота смеяться.

— Как у нас с музыкой? — поинтересовался Олай.

Обеспечить музыкальное оформление было поручено Герингу, и он тотчас взялся за дело, объявив, что в оркестре могут занять место лишь музыканты, выступающие с сольными концертами, или по крайней мере активные преподаватели музыки.

По мере того как умалишенных прибывало, росла и толпа вокруг. Откуда ни возьмись нахлынули и журналисты, однако Олай, которого буквально бомбардировали вопросами, ответил лаконично:

— Пока что мне сказать нечего.

Но сказано это было таким тоном, что у борзописцев мурашки по спине побежали, и они поспешили убраться восвояси.

По правде говоря, ни Олай, ни вечно витающая в облаках Камилла и надеяться не смели, что их выступление встретит такой отклик. Улицы — эти воронки, стоком обращенные к центру города, — выплескивали все новые массы народа. Толпы прибывали и прибывали, им было конца-края не видно. Проходим теперь уже стало не до смеха. Кому-то пришла мысль вызвать полицию, и по тревоге примчались две полицейские машины, затем еще три и еще семь, но они буквально растворились в толпе, откуда сотни рук протянулись к стражам порядка, отобрав у них сперва шашки, затем резиновые дубинки, а под конец и полицейскую форму. Блюстители закона даже не успели выбраться из своих автомобилей; они так и остались сидеть там, дрожа от холода и прикрывая срам ладонями, и испуганно глядели на толпу, пока один из них не пролепетал посиневшими от страха губами:

— Да здравствует Олай!

С этого и началась свистопляска.

А толпа между тем все росла-разбухала. Когда приток общественно опасных сумасшедших иссяк, за ними потянулись психически больные, опасные для самих себя, полоумные, тихие помешанные; шли юродивые, идиоты, придурковатые. Шли чокнутые и без царя в голове, шли одержимые страстью филателисты, помешанные на своем открытии изобретатели и свихнувшиеся гении. Шли те, кто всегда старается держаться бровки тротуара, и те, кто ни под каким видом не садится в поезд по пятницам; те, кто ждет не дожидается, чтобы у них на глазах кто-нибудь да выбросился из окна, и те, кто принимает близко к сердцу судьбу отчизны, зато по чем попало бьет кровных детей. За ними шли неудачники — все, кого оттеснили, подсадели, утопили, кого оплевали, подвергли осмеянию; и тотчас следом — трезвые и здравые разумом. Шли печальные настройщики роялей, размахивая нанизанными на камертон кактусами; живодеры с лампадой в руках, жестокосердые директора банков, играя на арфах. С петардами шли оставшиеся в девичестве почтовые барышни, подросли и политики, таща гигантских размеров полотна, на которых маслом были намалеваны закат солнца или мать, баюкающая в объятиях дитя. Все шли запыхавшиеся, взлохмаченные, обливаясь потом; пихали, толкали, притискивали друг друга в толпе, потому что каждый боялся, как бы не отстать.

Вожаки — Олай, Корец и Камилла, — стоя в отсеках для убойного скота, призывали толпу сохранять порядок. Геринга с оркестром послали на окраины устраивать пропагандистские концерты; император Рудольф обошел все казармы, Корец занял гидростанции, а Магомет захватил телеграф и телефонную станцию. В одном месте — в кинотеатре «Венера», что на улице П л е я д, — восставших встретили револьверными выстрелами из проекционной будки, в ответ на что кинотеатр был немедленно подожжен. (Количество жертв — две.)

К тому времени поездами и самолетами один за другим прибывали зарубежные друзья, и число им легион. Упомянем для наглядности лишь тех, кто воображал себя сыром: горгонзолу из Цюриха, трапписта из Э-ля-Бена и поль-

зующегося всеобщим уважением старца из лондонской психоневрологической клиники, который пятьдесят пять лет отдал служению сей навязчивой идее, причем столь успешно, что в момент его прибытия весь аэродром насквозь пропитался сырным духом. Было совершенно очевидно, что любой из них — не новичок в своем деле, однако Олай оказался на голову выше всех. Говорил он мало, но каждое слово его было к месту; а во второй половине дня он настолько разошелся, что чуть ли не превзошел самого себя... К вечеру исход борьбы был решен: восстание победило.

Было объявлено осадное положение. В здании парламента временно разместили тюрьму; Олай со свойственным ему беспримерным пуританским складом ума разместил свою штабквартиру в коптильне. Отсюда расходились во все края начертанные на брусках сала и копченых окороках первые величайшей значимости распоряжения. На второй день победы каждому досталось по тюбику вазелина; многодетным матерям — всем поголовно, невзирая на разницу в общественном положении и и, — был вручен стеклорез, а падшим женщинам и сиротам минувшей войны — мешочек птичьего корма. Спекуляция каралась смертной казнью, а грызть ногти можно было лишь с разрешения санитарного врача. По инициативе языковедов был расширен смысловой круг определенных слов, связанных главным образом с наименованием таких продовольственных товаров, которые достать было невозможно. Согласно этому нововведению, дозволялось есть сухой хлеб под видом «хлеба с маслом», ну а если человек складывал вместе обе половинки разрезанной на части булочки, то он с полным правом мог назвать ее «булочкой с ветчиной». Лица, у которых по причине их нищенской доли не хватало денег на трамвайный, железнодорожный или театральный билет, отныне могли по грошовой цене приобретать билеты, как две капли воды похожие на настоящие, но все же не дающие права на проезд в трамвае и поезде или на посещение театра. Охваченные радостным азартом, тысячи и тысячи людей на следующий день после победы скупали билеты, по которым нельзя было попасть в оперу.

Гудели колокола, город красовался, убранный флагами, провинция тоже присоединилась ко всеобщему ликованию, и даже за границей в знак солидарности прошли крупные демонстрации. На третий день на площади Свободы было провозглашено народное собрание. Вдоль дороги шеренгой выстроились полмиллиона человек, а сгрудившиеся на площади триста тысяч ожидали появления Олая — «Старшего брата» — в сопровождении сводных, названных и побочных младших братьев и сестриц, словом, всей почтенной семейки.

Едва Олай поднялся на трибуну, как стекла в окнах повывлетали от восторженных криков толпы. И сразу же наступила тишина — тяжелая, гнетущая; заряженные орудия перед залпом молчат так, как сейчас затих народ. Олай вскинул голову и заговорил. От раскатов его голоса на колокольне базилики качнулся и зазвучал колокол, а на цветочных клумбах поникли без чувств анютины глазки.

Олай успел сказать лишь:

— Эники-беники, море волнуется...

Да он и не мог бы продолжить: ведь больше этого человеку не вынести! Толпа взревела, возрыдала, возопила и слилась в единое целое. Кое у кого еще оставались собственные шнурки на ботинках, своя мочка уха или тому подобное. Но гораздо важнее, что кровь циркулировала в них по общей системе сосудов и воля у них стала общей.

(1940)

Царевна иерусалимская

Ресторанчик назывался "Mewa", что значит «чайка».

Солнце припекало жарко, но при этом дул резкий северный ветер, науськивая море против террасы «Мевы». Каждая волна разбивалась на тысячи водяных капель, а каждая капля в свою очередь — на тысячи осколочных брызг, покрывая тончайшими соляными кристалликами скатерть и пестрые тенты, бутылку с водкой и темные очки Ильзы, остатки завтрака на столе и рукопись познанского драматурга.

— Действие первое, картина третья.

Парень из Познани носил оранжево-красный свитер, и у него была такая стрижка, что каждый волосок в отдельности ухитрялся торчать дыбом, обращенный к своей, персонально избранной счастливой звезде. Вдобавок ко всему и зубы у молодого человека были плохие — видимо, тоже в знак некоего протеста: скажем, в знак бунта самих зубов против регулярного стоматологического надзора. Казику достаточно было прослушать две первые картины, чтобы решить для себя: пьесу эту он ставить не будет; однако он и виду не подавал, даже более того, слушал чтение, одобрительно кивая головой. Признательная Ильза в ответ на эти его кивки медленно закрывала и открывала глаза.

Дело в том, что познанское дарование было открыто ею. Парень сочинил уже девятую пьесу. По его собственному признанию, над пьесой можно работать самое большее две недели, поскольку драматургия — это вам не литература, а священный обряд вроде обрезания или принесения человеческих жертв. Как только в авторе остывает творческий пыл — это происходит обычно через две недели, — то к делу приступает (с уничижительной интонацией) драматург. Эта теория привела Ильзу

в экстаз. Казик был старше ее на восемнадцать лет; сердцем она была на стороне мужа, а каждой нервной клеточкой солидарна с двадцатилетней молодежью. После первого действия она прервала читку.

— Ну, как твое мнение? — спросила она мужа.

Рутковский задумался.

— Начало пьесы неплохое.

— Ты бы мог ее поставить? — спросила Ильза.

— Почему бы и нет? — вопросом на вопрос ответил Рутковский.

— Вот видите! — бросила Ильза познанскому дарованию, а мужу адресовала благодарную улыбку и опять медленно прикрыла глаза. «За одну эту улыбку я продаю свою честь», — подумал Казик.

Читка пьесы подошла к середине второго действия, когда в глубине ресторана послышался телефонный звонок. На террасу вышла барменша.

— Пана профессора просят к телефону.

Здесь, на взморье, Рутковского называли «паном профессором», в Варшаве он был для всех «паном директором». О том, что он к тому же и писатель, теперь не было известно никому, а молодым вроде этого вот парня из Познани и подавно.

— Кто там опять? — досадливо спросила Ильза.

Звонила Оленька, их дочь, сообщить, что пришла телеграмма. Принес телеграмму ее любимец — почтальон с деревяшкой вместо ноги. Первым делом Оленька похвасталась, что ей было разрешено приподнять штанину и постучать по деревяшке. Затем она вскрыла телеграмму. Девочка все еще была взбудоражена, когда медленно, по слогам, как в школе, читала текст.

— Папа, скажи, пожалуйста, что значит «покончить с собой»? — спросила она затем.

— Это значит, что человек больше не хочет жить, — ответил Казик.

— А почему человек больше не хочет жить?

Казик задумался.

— Потому что у него не осталось близких и ему некого любить, — сказал он.

— Тогда, наверное, я буду жить очень долго, — удовлетворенно заметила Оленька. — Мне есть кого любить!..

— И кого же ты любишь больше всех?

— Как кого? Себя! — сказала Оленька. — Это плохо?

— Нет, что ты! — улыбнулся К а з и к. — Пожалуй, ты будешь жить вечно.

Подойдя к стойке бара, он заказал водки. Барменша выжала в бокал сок из половинки лимона и одарила Рутковского восторженным взглядом. Она была страстной поклонницей театра вообще и современных пьес в особенности и, обслуживая директора театра, чувствовала себя тоже приобщенной к театральному миру.

Прихватив с собой бокал, Рутковский вышел на террасу.

— Что случилось? — спросила Ильза.

— Барбара отравилась.

— Тьфу, старая истеричка! — воскликнула Ильза, неизвестно почему почувствовав себя лично задетой.

— Она уже вне опасности.

— Ей хочется сыграть Н о р у, — сказала И л ь з а. — Боже, до чего дешевый трюк!

Рутковский ошеломленно взглянул на жену. Читка продолжалась, но он не в силах был сосредоточиться. Когда кончилась война и они впервые встретились после разлуки, волосы у Барбары чуть начали отрастать. Годом раньше из-за декламации одного запрещенного стихотворения Барбару наголо обрили в гестапо... В телеграмме сообщалось, что жизнь ее вне опасности, но Казик все же испытывал беспокойство; поднявшись со своего места, он попросил извинения и прошел к телефону. Телефонистка на центральном сопотском коммутаторе узнала Рутковского по голосу и вне очереди соединила его с театром, затем с секретаршей и под конец с квартирой Барбары. Ни по одному номеру не отвечали — этого и требовалось ожидать, и все же безответные звонки подействовали на него более угнетающе, чем телеграмма. Он попросил еще рюмку водки.

— Наверное, готовитесь к очередной постановке? — с трепетом поинтересовалась барменша.

— Вроде того.

— Что-нибудь сногшибательное?

— Уж это точно.

— Пани будет играть в ней?

— Возможно, — ответил он.

— Разве это заранее не известно?

— Наверняка никогда нельзя знать.

— Ж а л ь, — промолвила барменша. — Люди столько работали...

— Работали? — изумился Рутковский. — Когда же это?

— Да всю неделю.

— А вы не ошибаетесь?

— У меня в среду выходной, — пояснила барменша. — Так вот с прошлой среды они все время сидят здесь на террасе и что-то пишут.

Странно! Помнится, Ильза только позавчера сообщила ему о приезде этого малого из Познани. Конечно, он мог и перепутать: во время отпуска дни мало чем отличаются один от другого, к тому же и на память — увы! — нельзя положиться... Он попросил бросить в водку кусочек льда. Отсюда, от стойки бара, вся терраса была как на ладони.

Заняты были лишь четыре-пять столиков и сплошь одной молодежью. Все тенты сложены, кроме того, который заслонял их столик: Рутковскому вредно было находиться на солнце. Он даже к концу лета ухитрился сохранить белизну кожи, и густо-шоколадный загар на этих молодых людях показался сейчас Рутковскому похожим ни на что. Такую униформу носила барменша, и, конечно же, Ильза, и этот малый из Познани.

Оба не говорили друг с другом, даже словечком не перебросились; прикрыв глаза, молчи наслаждались солнцем. На сцене, подумал Рутковский, даже молчание бывает красноречивым; если два действующих лица молча переглядываются, они тем самым ведут между собой разговор. В чеховских пьесах самая замечательная именно эта особенность: в то время как герои беседуют на сцене, под прикрытием их слов происходит немой диалог, столь же понятный зрителю, как и весь текст, произносимый вслух...

Отставив недопитый бокал, он наскоро расплатился и поспешил к столику на террасе.

— В полдень скорым я еду в Варшаву, — сказал он. — Читку закончим завтра.

На сей раз Ильза почувствовала обиду не только за себя, но и за автора.

— Неужели ты клюнешь на такую дешевую приманку?

Ему хотелось сказать: мы дружим уже двадцать пять лет. Однако говорить этого было нельзя по той простой причине, что двадцать пять лет назад Ильза едва успела появиться на свет. Старость, с точки зрения Ильзы, могла рассчитывать на единственное смягчающее обстоятельство: талант, на который обычно и делалась скидка. Поэтому Рутковский сказал:

— Если б ты знала, до чего она была талантлива!

— Барбара? — язвительно уточнила Ильза. — Когда же это?

— Быть талантливым — неправильный глагол, — вмешался познанский мальчик. — Он имеет лишь настоящее и будущее время.

— Остроумно, — заметил Казик.

— Кстати, как вам понравилось второе действие?

— Зачем понадобилось надавать пощечин той женщине? — спросил Рутковский.

— Затем, что иначе она не соглашалась переспать с шофером.

— Я не сторонник насилия.

— Через тридцать лет, — отбрил его мальчик, — я тоже стану возбуждать женщин только щекоткой.

— А до тех пор? — поинтересовался Казик.

— Мы хотим жить без какого бы то ни было обмана.

— Всякая иная любовь, по-вашему, обман?

— Было бы разумнее, — сказал парень, — потолковать о пьесе.

— Я еще не слышал третьего действия.

— Оно точно такое же, как два первых.

— Жаль, — сказал Рутковский.

Он не смотрел на Ильзу, хотя ему было любопытно, откры-

ла ли она глаза по крайней мере. Он быстро нагнулся, словно ища портфель, сползший под шезлонг.

— Мы можем довести вас до Сопота, — предложил он парню.

— Благодарю, — ответил тот. — Я остановился здесь.

— Разве здесь есть где остановиться?

— Несколько номеров у них сдаются.

— А я и не знал, — сказал Рутковский.

Соблазн был еще сильнее, но он устоял и даже сейчас не взглянул на Ильзу.

— Ну что, поехали? — обратился он к жене.

— Я пока задержусь.

Рутковский, сделавший было шаг от стола, остановился.

— Оставить тебе машину? — спросил он чуть погодя.

— Я доберусь автобусом.

— Мест может не хватить.

— Я хочу дослушать пьесу до конца, — заявила Ильза.

— Завтра и дослушаем, — заверил ее Казик.

— Терпеть не могу останавливаться на полдороге, — сказала Ильза

— Прощай, — сказал Казик.

— Возвращайся поскорее, — сказала Ильза.

Он сделал рукой прощальный жест и пошел прочь. «Стоит мне сейчас обернуться, — подумало н, — и перехватить взгляд, которым они обмениваются, тогда я узнаю обо всех их тайнах...» Казик и на сей раз не поддался искушению; он вообще хорошо переносил невыясненные ситуации.

«Фиат» Рутковских был старым рыдваном, который на ходу громыхал всеми своими железными потрохами. Машина находилась на стоянке позади ресторана, однако море разбушевалось не на шутку, брызги залетали далеко, и ветровое стекло оказалось сплошь усеяно соляными кристалликами. Казик принялся было счищать их со стекла, но как только на асфальте под ногами у него захрустела соль, он тотчас прекратил это занятие. От звука хрустящей соли по спине у него побежали мурашки; он сел в машину и по прибрежному шоссе рванул к Сопоту.

В прошлом году за ней увивался один такой — из молодых,

да ранний: Богдан, врач из их театра. (Тогда Казик считал эти ухаживания безрезультатными.) Юный воздыхатель катал Ильзу на лодке и декламировал ей стихи Рильке; конечно, даже декламацию Рильке — на значительном расстоянии от берега — можно воспринимать как своего рода насилие. Вот познанский парень, тот декламацией не увлекается; он силен, как горилла. Любопытно бы узнать, как реагирует Ильза на насилие... Жаль, что он не выспросил барменшу, поклонницу театра, можно было бы поинтересоваться, к примеру, разрешается ли дамам посещать мужчин в их номерах. Однако Казик охотнее прислушивался к своей фантазии: она всегда давала ему такой ответ, какой он и желал получить. Номера, которые сдаются, как правило, расположены на втором этаже. Железная койка. Шкаф. Стол, стул. Не столько гостиничный номер, сколько тюремная камера... В окно врывается шум прибоя, и каждый день с пяти вечера наяривает джаз. Тут кричи не кричи, никого не дозовешься. Но Ильза и кричать не станет. Горилла вцепит ей затрещину, и она и вскрикнуть не успеет, как окажется нагишом: эти модные летние платяшки ничего не стоит сорвать одним махом. Затем он швырнет ее на постель. Нет, сперва он заорет на нее... Да если еще и по-немецки: *Liegen!* * Инфинитив в качестве повелительного наклонения звучит особенно беспощадно.

Гордость — субстанция хрупкая, как стекло. Чем человек чище и благороднее душой, тем более ранима эта душа... Да и у кого достанет силы кричать, отбиваться руками-ногами, царапаться и вообще в голом виде сопротивляться мужчине, одетому с головы до пят? Да если этот мужчина вдобавок ко всему одет в форму немецкого военного врача! Представим себе познанского парня в гостиничной комнатухе, где сходство с тюремной камерой налагает особый отпечаток на всю эту сцену насилия. Представим себе этого малого с его длинными, как у обезьяны, руками, с торчащим ежиком волос и в форме немецкого военврача. И представим, будто бы он уже добился того, чего хотел. Пойдем в своих предположениях

* Лежать! (нем.)

дальше и допустим, что люди в этом возрасте признают лишь один вид любви: насильственный... Что же происходит после этого? О чем говорит майор медицинской службы и как? Грубо кричит или нежно шепчет на ухо? Сюсюкает? Произносит красивые слова?

— Ах ты, дурашка, — говорит о н . — Звереныш упрямый! Ну хоть бы сказала, что любишь меня!

— Я же еще и любить тебя должна?

— Разве тебе было плохо со мной?

— Да меня от одного твоего прикосновения в дрожь бросае т , — Ильза отодвигается от него.

— Зачем ты врешь? — говорит о н . — Мы хотим жить без какого бы то ни было обмана. Это муж твой вгоняет тебя в дрожь, дурашка.

— Неправда, — говорит И л ь з а . — Я люблю Казика.

— Что в нем любить-то? Старый, мнит о себе бог весть что, лживый до мозга костей. Даже имя у него и то вымышленное. Шпигель — вот как его зовут на самом деле, а Рутковский — всего лишь писательский псевдоним.

— В этом нет ничего зазорного.

— Ну, а если уж он — писатель, то почему ни черта не пишет? Я за полтора года создал девять пьес, а он за пятнадцать лет не выдал из себя ни строчки.

— Неправда, — говорит И л ь з а . — У него написано исследование о Чехове. И есть одна пьеса...

— Которую он начал сочинять еще в гетто. Чего же он ее не закончит?

— Он останется здесь в одиночестве на весь сентябрь специально, чтобы завершить пьесу.

— Будь спокойна: ему уже ничего не удастся завершить.

— Вчера он написал одну сцену, да и сегодня, не подоспей эта телеграмма...

— Веселенькое дело: писатель, который не умеет писать! Все равно что пустой желудок, который переваривает сам себя. Или труп, который одновременно является и могильным червем... Это ведь все — синонимы.

Доносится шум прибой. Звучит джазовая музыка. Железная

койка скрипит: Ильза поднимается на колени и ударяет познанского парня кулаком по лицу:

— Сам ты труп, сам ты могильный червь.

И бьет куда попало. Изо рта и носа у парня хлещет кровь...

— Э, н е т , — одергивает себя Рутковский.

С тех пор как он знает Ильзу, она ни разу голоса не повысила. Всегда спокойна, уравновешенна, чуть холодновата... Чего душой кривить: этого познанского парня талантом бог не обидел, а талантливые люди всегда оказывали воздействие на Ильзу; так иных женщин завораживает негритянский певец или знаменитый футболист... Как же, станет она пускать в ход кулаки! Уж скорее прижмется к парню, будет с ним ласкаться-миловаться, давать клятву не разлучаться навеки. Вилла в Сопоте принадлежит Ильзе, она без труда может обменять ее на квартиру в Варшаве.

— Тебя устраивает столовская еда?

— А в чем дело? — спрашивает познанский парень. — Ты должна была ему готовить?

— У него сахарный диабет, — жалобно вздыхает Ильза. — Поверишь ли, я уже забыла, что значит быть молодой. До чего мне осточертело вечно плестись еле-еле, так люблю быстро ходить! Посмотри, какие у меня красивые, длинные ноги; наверное, я могла бы взбежать по стене, словно паук... Сможешь поднять меня?

— Да хоть одной рукой!

— Дорогой мой, ты — настоящий мужчина.

— А ты — мой родной зверек.

— Я тебя очень люблю.

— И я тебя — очень.

— Очень-очень.

— Очень.

Рутковский подъехал к Сопоту и замедлил ход. Не сказать, чтобы он действительно испытывал ревность оттого, что ему наставили рога. Скорее это было ощущение, будто его замарали, унизили, выставили на посмешище. Но тем не менее он решил, что при первом же удобном случае повыспросит барменшу: надо все-таки внести определенность.

Эта определенность, однако, могла быть внесена и раньше — благодаря Оленьке, которая выбежала навстречу отцу, едва только машина его остановилась перед виллой.

— А где мама?

— Она осталась с одним дядей из Познани.

— Скажи, папа: черный сахар бывает? — задала неожиданный вопрос Оленька.

— Черный сахар? Надо же такое выдумать!.. Наверное, бывает.

— И он ест черный сахар?

— Кто?

— Да этот дядя из Познани.

— Ты его знаешь?

— А разве не от этого у него такие черные зубы?

Надо бы тут же как следует выспросить, откуда она знает этого дядю с черными зубами, бывал ли он у них дома, когда и как часто... Но эта идея осенила его лишь позднее, когда он спешил к вокзалу. Это ведь тоже один из способов самозащиты, когда щекотливые вопросы начинают волновать нас лишь задним числом... Да и вполне возможно, что объяснение девочки не внесло бы никакой ясности: у Оленьки столь же безудержная фантазия, как и у него самого. К примеру, в прошлом году она, возвратясь домой с первого урока музыки, заявила, будто учительница помешана на кошках. В комнате у нее кошки кишмя кишат, иногда даже прилипают друг к дружке, орут дурными голосами, и тогда учительница загоняет их под кровать... Ильза тотчас поспешила туда, но не нашла во всей квартире ни единой кошки. Лишь над пианино висела репродукция с картины Пикассо, изображавшей нечто тигрово-полосатое, расчлененное на кубики. «Что изображено на этой картине?» «Кошка», — ответила преподавательница музыки. «Вы говорили об этом Оленьке?» «У нас о картине и речи не заходило», — ответила учительница, — хотя она разглядывала ее долго».

Казик добрался до Варшавы в разгар полуденной жары. С вокзала он обзвонил все больницы и клиники, пока наконец в какой-то из них дежурный не ответил, что Барбара Домбров-

ская действительно находится у них на излечении — второй этаж, палата номер пятнадцать.

— Можно ее навестить?

— Состояние больной не внушает опасений.

Обливаясь потом, он повесил трубку. Что-то раздражало его, но что именно — он не знал. Возможно, то, что Барбара так легко отыскалась; возможно, тот факт, что она в хорошем состоянии и теперь уже от посещения не отвернется. Обычно это необъяснимое чувство разочарования вызывают в нас наши потаенные желания, если им не суждено сбыться... С перрона послышался паровозный свисток: подали состав на Сопот. Но для Казика отступления быть не могло; он вышел на раскаленную привокзальную площадь и стал ловить такси.

— Явился чуткий и отзывчивый директор! — удивленно воззрилась на него Барбара, презрительно скривив губы, но тотчас и утратила к посетителю интерес; равнодушно уставилась в потолок, и все попытки Рутковского как-то объясниться пресекла одним жестом. — Знать ничего не хочу! — кричала она. — Не вздумай меня утешать и улещивать. Не желаю слушать ни одного неискреннего слова! Алисе уже досталось на орехи за то, что отправила тебе телеграмму.

Алиса была секретаршей в дирекции театра.

Цветочной вазы он не нашел. Налил воды в раковину и опустил туда купленные по пути розы. Затем подошел к койке. «И это тело я целовал», — подумал он. Но сейчас он обязан был видеть Барбару красивой и не имел права чувствовать запах пота. Он склонился над ней, чтобы ее поцеловать.

— Катись к дьяволу, — оттолкнула его Барбара. — Чего ты заявился? Думал, меня уже нет в живых?

— В телеграмме сообщалось как раз о том, что опасность миновала.

— А ты все же надеялся?

— Не мели ерунды, Барбара. Просто я хотел тебя повидать.

— Есть на что смотреть: хороша — дальше ехать некуда. Налюбовался и ступай прочь.

— Не груби, — сказал Рутковский. — Я хочу поговорить с тобой.

— Жалобные рыдания у гроба, — сердито фыркнула Барбара, по-прежнему глядя в потолок. — И о чем же ты хочешь говорить со мной?

— О твоих ролях.

— Очень мило с твоей стороны, — сказала Барбара, — через пятнадцать лет вдруг вспомнить о моих ролях.

— В этом сезоне ты играешь в трех пьесах, Барбара.

— Читала я эти пьесы, — сказала Барбара. — Задаром не надо.

— Тогда сыграй что-нибудь другое.

— Что именно?

— Что хочешь, — сказал Рутковский и добавил: — Выбирай сама. Нет ли у тебя желания, к примеру, сыграть Нору?

— Нору? — переспросила Барбара.

Она села в постели, спустив ноги вниз. Наклонилась вперед, чтобы лучше видеть... Глаза человека живут вечно. А может, только Казик чувствовал так, мысленно воссоздавая сейчас по глазам Барбары ее разрушенное временем лицо, подобно тому как реконструируют стену собора по одной лепной розетке.

— Прикажешь принимать это как утешение? — спросила актриса.

— Никакое это не утешение.

— Значит, ты врешь.

— Не вру.

Они одновременно начинали карьеру; Барбара играла Пэка из «Сна в летнюю ночь» в том же сезоне, когда была поставлена первая пьеса Рутковского. Их роман длился полтора года. Позднее, когда Казик стал директором театра, они по возможности старались избегать встреч: оба чувствовали себя неловко, и эта неловкость по большей части выливалась в ссоры.

Вот и сейчас она недоверчиво смотрела на Рутковского.

— Что это тебе втемяшилось, Казик? Может, совесть заела?

— Я всегда считал тебя очень талантливой, Барбара.

— Опять врешь.

— Завтра же сделаю заявление в печати, что ты будешь играть Нору.

Актриса вытащила пудреницу. Внимательно рассмотрела

свое лицо, затем протянула Рутковскому зеркальце, будто там осталось ее изображение.

— Взгляни сам. Недавно я видела себя по телевидению: старая баба, волосы безобразные. Какая из меня получится Нора? Сплошное убожество!

— Из тебя получится великолепная Нора.

— Ты в меня веришь?

— Да, Барбара.

— Поклянись.

— Клянусь.

— Клянись всем на свете.

— Клянусь всем на свете.

— Поклянись, что я и сейчас так же талантлива, как во времена постановки Шекспира, когда впервые стала твоею!

— Ты и сейчас так же талантлива, как во времена постановки Шекспира, когда ты впервые стала моею.

Барбара вздохнула, почти не в силах скрыть наслаждения, и сказала:

— За что только я тебя люблю, мерзавец ты эдакий!

И поблагодарила за розы. Ее точно подменили: она стала разговаривать весело и дружелюбно. От той неловкости, которая столько раз вызывала между ними перепалки, сейчас и следа не осталось. Барбара поплакалась, сколько ей пришлось выстрадать из-за почечных камней, но зато она надеется, что здесь, в клинике, врачи заодно вылечат ее и от этой хвори. Затем она рассказала, что решила отравиться люминалом, но поначалу никак не удавалось его раздобыть, пока, наконец, доктор Богдан, врач из театра, которому она пожаловалась на бессонницу, без звука не выписал ей рецепт.

— Как же ты ухитрилась проглотить такое количество таблеток? — спросил Казик.

— Это оказалось труднее всего, — рассмеялась Барбара. — Ты же знаешь, каких мучений мне стоит каждый глоток.

В театральном мире всем было известно, что Барбара на сцене лишь делает вид, будто ест или пьет. Она всегда сильно волновалась перед выступлением, и это вызывало у нее спазм пищевода. Вот и люминал ей пришлось глотать по одной таб-

летке с интервалами в пять-шесть минут. После каждой очередной таблетки она выходила в ванную комнату, прополаскивала горло холодной водой, возвращалась, принимала следующую. На десятой ее окончательно заклинило, не проглотить — хоть убей, но как раз в этот момент — со смехом продолжила Барбара свой рассказ — пришла женщина убирать квартиру. Поэтому больше девяти таблеток принять не удалось.

— Остался у тебя еще люминал? — спросил Казик.

— Целая к у ч а , — засмеялась Барбара. — Хочешь убедиться?

Она выдвинула ящик тумбочки. Там лежала непочатая склянка люминала и еще одна стеклянная трубочка с точно такими же белыми таблетками, предназначенными, как оказалось, для промывания почек.

— Надеюсь, ты не собираешься еще раз повторить подобную глупость? — спросил Казик.

— Еще чего не хватало! — воскликнула Барбара и, встав с постели, накинула х а л а т . — Пр о с т и , — обернулась она в д в е р я х , — с тех пор как я начала принимать мочегонное, каждые полчаса приходится бегать.

Казик остался в палате один. Оглянувшись на дверь, он вытащил трубочку с люминалом и высыпал в ладонь ее содержимое. Вместо снотворного он набил трубочку мочегонным и приклеил этикетку так, чтобы трубочка выглядела непочатой. А вот что делать с люминалом, он не знал. Окно закрыто, в раковине торчит букет роз... Казик услышал шаги. Он сунул таблетки в карман и сел.

Ящик тумбочки остался незадвинутым. Барбара, снимая с себя халат, бросила туда взгляд, но ничего не сказала, только улыбнулась довольной улыбкой, как мать, в отсутствие которой дети похватали печенье... Она легла в постель и повернулась на бок, чтобы лучше видеть Казика, и даже зажгла ночник, потому что стало смеркаться.

— Мы было очень беспокоились за тебя, К а з и к , — сказала она, удобно устроившись.

— Кто это — мы? И с какой стати было беспокоиться?

— Н е в а ж н о , — улыбнулась Барбара. — Мы заблуждались на твой счет. Наведаешься ко мне еще разок?

— Наведаюсь, и не р а з , — ответил Казик.

— Вот будет здорово! — воскликнула Барбара. — Помнишь паштет по-strasбургски?

Оба расхохотались. В ту пору, когда они еще жили вместе, в руках у Казика однажды разорвало консервную банку, едва он начал вскрывать ее. Барбаре вспомнилось еще немало подобных забавных случаев, затем Рутковский спустился в проходную и вызвал по телефону такси. Потом он вернулся, и, пока они ждали такси, им было по-прежнему легко и просто. Барбара усадила Казика к себе на постель, а сама мечтательно уставилась в темнеющий квадрат окна.

— Помнишь, какие у меня были красивые волосы?

— Они и сейчас красивые, — сказал Казик.

— С тех пор как их сбрили, они никак не желают отрастать длиннее.

— Короткая стрижка тебе тоже идет, — заметил Казик.

— Самой себе я нравлюсь только такая, какой была прежде, — сказала актриса. — И любить могу только то, что было до войны. Люблю твоего сынишку, этого очаровательного постреленка... Господи, до чего дивные были у него глаза!

— К чему говорить об э т о м , — сказал Казик.

— Люблю Ядвигу, — вздохнула Барбара. — Каким ласкательным прозвищем ты ее называл? Царица Савская?

— Теперь уж и не припомню, — сказал Казик.

И тотчас вспомнил: «царевна иерусалимская» — вот как он ее называл. И лицо Ядвиги возникло перед ним, как бы спроецированное на стену больничной палаты. Он словно вновь увидел ее кожу — белую и настолько чувствительную к свету, что даже тень от ветки оставляла след на этом нежном белом покрове, подобно царапине. На ослепительной белизне лица выделялись два темных пятна: глаза Ядвиги, черным потоком уходящие куда-то в таинственную даль — как на негативе фотографии.

— Ее планетой была Луна, — мечтательно продолжала Барбара.

Рутковский молчал.

— Вот ведь интересно: к ней я не испытывала ревности, —

сказала Барбара. — Может, потому, — она как бы размышляла вслух, — что Ядвига душу готова была отдать за ребенка.

Рутковский промолчал и на это.

— Теперь таких женщин и не найдешь, — заключила Барбара. — Неужели ты поверил этим кошмарным рассказам про нее?

— Да, — сказал Казик.

— Ну, а ты хотя бы потом пытался выяснить?

— Зачем?

— Как это — зачем? — Барбара вдруг села в постели. — Да ты просто ненормальный! — Свет ночника бил ей в глаза, и она повернула лампу в сторону. — Ведь еще свидетели живы... Как бишь ее звали, твою привратницу?

— Откуда мне знать!

— Кажется, тетушка Дамазер.

— Может быть.

— А где жила Ядвига? Ты ведь был знаком с хозяйкой той квартиры?

— Не помню, как ее звали.

— Она еще, должно быть, жива. И адреса ее ты не знаешь?

— Знал, но запамятовал.

— И ты способен не думать о ней?

— Да.

Барбара отвернулась. Теперь она опять лежала навзничь и опять смотрела в потолок.

— А вот я не могла бы жить без воспоминаний, — чуть погодя сказала она.

— Какое-то время и я не мог, — признался Рутковский, — но потом научился.

— Тебе легко говорить, у тебя есть дочка.

— Это верно.

— И Ильза.

— И это верно.

— Какая у вас разница в годах?

— Я на восемнадцать лет старше ее.

— И тем не менее хорошо уживаетесь?

— Очень хорошо уживаемся.

— Передай им привет, — сказала Барбара.

— Спасибо, — сказал Рутковский. — Передам.

— Наверное, такси уже приехало, — сказала Барбара.

— Еще нет, — сказал Рутковский. — Мне видно в окно.

— Ступай, — сказала Барбара. — Я устала.

— Я буду навещать тебя.

— Не нужно, — сказала Барбара. — Одной лучше.

— Ты же сама сказала, что будешь рада.

— Я ошиблась, — сказала Барбара. — Не хочу тебя видеть.

Она даже прощаться с ним не стала.

«Старая истеричка! — возмущался Казик, спускаясь по лестнице. — Тащусь к ней в самую жарницу из другого города. Преподношу ей розы. Сыграть Нору — мечта всей ее жизни... Чего, спрашивается, ей еще надо? Чтобы я жил, воссоединяюсь со своими покойниками, как это делает она?»

Такси как раз разворачивалось перед клиникой.

Дома в нос ему ударило затхлостью: комнаты несколько недель не проветривались. Казик открыл окна, устроил сквозняк; тут он вспомнил, что в кухне оставалось полбутылки водки.

Ему надо было пройти через детскую. Он включил свет, вошел было в комнату и тотчас попятился назад: посреди комнаты, возле Оленькиного кукольного театра стоял конь-качалка. «Померещилось», — подумал он и погасил лампу. Затем включил снова: конь стоял на прежнем месте.

Краска на нем почти вся облупилась, грива вылезла, сбorkу торчала пакля. Казик пятнадцать лет не видел коня и все же сразу его узнал; непонятно было только, откуда он взялся и каким образом очутился здесь, в наглухо запертой квартире... Но конь-качалка стоял тут, на этом самом месте, как и в тот день, когда на улице взревели моторы грузовиков и эсэсовцы стали скликать детей: «Мальчики, девочки, поехали с нами, будем сниматься в кино!» В ту пору немцы еще пытались соблюсти какую-то видимость, и если во время акции собиралась большая толпа народа, то объявляли, что детишек везут всего-навсего в зоопарк, на съемки для кинохроники. Однако в гетто была превосходно поставлена разведывательная служба. Там

уже было известно об эшелонах с детьми и о том, что отправляют их по ночам, знали даже, с какой сортировочной станции, но делали вид, будто верят в эту шаткую легенду. Если жертва не может вцепиться в горло своему убийце, то не вредно подкинуть ей какой-нибудь оправдательный предлог, — тут немцы верно рассчитали.

Транспорт с детьми эсэсовцы сперва доставляли к кинотеатру «Олимпия». Детишки выстраивались в очередь перед билетными кассами, называли свое имя и получали порядковый номер. Одному мальчику удалось бежать оттуда; что происходило с детьми после этого — остается только строить догадки. Можно предположить, что прямо здесь же, в фойе кинотеатра, их осматривали и отбирали пригодных для отправки в рейх, где на только что созданной экспериментальной станции из них должны были воспитать полноценных арийцев. Осмотр не затягивался надолго. В первую очередь отбирались белокурые дети. Затем им вручали по четыре мяча разного цвета и делали для себя пометки, который из четырех был выбран ребенком. У детей прослушивали сердце, измеряли и записывали вес и рост. Замеры черепа производились с помощью прибора, который определял характерный для семитской расы лицевой угол, да так быстро, будто просто давал ребенку щелчка по голове... В зрительном, зале, на возвышении перед киноэкраном, заседала комиссия.

Казик весь день писал. Он работал над пьесой и из-за стука пишущей машинки не слышал гула моторов и выкриков эсэсовцев. Когда он спохватился, было уже поздно. Улица опустела, лишь несколько мужчин в отчаянии метались туда-сюда, а женщины стояли, рыдая... Он высунулся из окна, громко крича:

— Оленька! Оленька, где ты?

Он остолбенел: что за абсурдная мысль! Оленьке минул девятый год, а ребятишек из гетто забрали летом 1942 года. Всею виною жара. Эта дурацкая поездка. И ссора с Барбарой... Ведь он, к примеру, отлично помнил, что сынишка был белокурым; каждый считал своим долгом заметить, как это странно, что родители оба черные как смоль, а ребенок такой светлого-

лосый. Но лицо сына представлялось ему расплывчато. Наверняка на мальчишке был красивый костюмчик, один из тех, что дарила Ядвига... Но вот имя сынишки он никак не мог вспомнить. Как ни рылся в памяти, упорно возвращался к имени дочери, лишь Оленьку видел в кинотеатре «Олимпия», на помосте перед отборочной комиссией.

— У тебя оба дедушки и обе бабушки евреи? — спрашивала председательница.

— Мой папа — знаменитый писатель, — отвечал ребенок предельно беззастенчивым тоном.

— Ты не умеешь отвечать на вопросы?

— Я привыкла говорить, что на ум взбредет.

— Ты ведешь себя, как беспризорная девчонка.

Председательница одета в форму. Черты лица ее напоминают Ильзу: та же холодность, незамутненность, то же гнетущее спокойствие... И вот ведь что интересно: вроде бы сейчас зима, а председательница покрыта ровным шоколадно-смуглым загаром. С детьми она обращается строго, однако недоброжелательной ее не назовешь: манера поведения — как критическая точка между водой и льдом.

— Как зовут твоего отца?

— Папа.

— Разве это имя?

— Конечно, имя.

— Ты глупа не по возрасту.

— И вовсе я не глупая.

— Глупая, глупая!

— Нет!

— Я говорю: да!

— А я говорю: нет!

Стоящий рядом охранник, возмущенный дерзостью ребенка, дает ему щелчка. И щелчок-то не очень сильный, все же Оленька поражена. Это первый щелчок в ее жизни. Казик строго-настрого запретил наказывать ребенка: основное условие гуманного воспитания заключается в том, чтобы ребенок не боялся взрослых. Оленька оборачивается к охраннику и показывает ему язык. Комиссия так и ахает.

— Имя и фамилия матери? — спрашивает председательница.

— У нее нет имени.

— У каждого человека есть имя.

— Вернее, есть, — поправляется Оленька, — только его нельзя произносить. А значит, его нет.

— Почему нельзя произносить ее имя?

— Тетушка Дамазер сказала, будто мама опозорила Польшу и папа наказал ее за это.

— Как же он ее наказал?

— Ей запрещено приходить домой, а мы должны забыть ее имя.

— Кто эта тетушка Дамазер?

— Жена привратника.

Председательница записывает, и один из охранников уносит куда-то эту бумажку. Ночью за Дамазерами приезжает крытый грузовик. Привратница кричит на весь подъезд: «Тайник — за перекрывающим краном!» Один из солдат понимает по-польски. Он возвращается и забирает из тайника за водопроводным краном все деньги Дамазеров. Грузовик поспешно уезжает.

— С какими детьми ты дружишь — с евреями или с крещеными?

— Ни с кем я не дружу. Мой папа — знаменитый писатель.

— До чего же ты бестолковая, — говорит председательница. — И папой своим нечего хвалиться.

— Он специально для меня написал сказку, — рассказывает Оленька. — Летят по небу утки, тысяча тысяч, — это облако. У каждой в клюве — капелька воды, это дождь. И что такое снег, я тоже знаю.

— Вряд ли ты нам понадобишься, — машет рукой председательница. — Несешь всякую чепуху, что на ум взбредет.

— Папа сочинил это только для меня и никому другому даже не показывал.

— Опять ты врешь. Ты и читать-то не умеешь.

— А вот и умею, — хвастается Оленька. — Папа меня даже английскому учит. Dog — значит «собака». Ship — «корабль». Я — папино сокровище, ясочка ненаглядная.

— Оно и видно, что ты для него сокровище, — усмехается председательница. — Вот сейчас он, к примеру, чем занимается?

— Шведский король прислал папе посылку. Шоколад — это для меня, а папа варит себе кофе и пишет.

— А за тобой в это время кто присматривает?

— Тетушка Дамазер.

— И это называется папа тебя любит?

— Я — папино сокровище, ясочка ненаглядная.

— Неправда.

— Нет, правда!

— Неправда!

— А вот и правда!

— Я говорю: неправда!

— Все равно — правда!

Откуда-то послышался звонок — глухо, точно пробиваясь сквозь многослойную ткань.

Рутковский вздрогнул. Он по-прежнему стоял на пороге детской. «Так и с ума сойти недолго, — подумал он. — Собственная фантазия меня доконает. Где же водка? Надо принять снотворное, лечь и выспаться. А во всем виновата эта старая истеричка...» Он сунул руку в карман, вытащил таблетку люминала. Помнится, водку он оставил на кухонном буфете. Он вышел на кухню, огляделся. Действительно, бутылка стояла на буфете. Но едва он сделал шаг, мозаичный пол под ногами у него захрустел, словно была рассыпана соль. Казик устроилось нехорошо, если под ногами у него хрустело. Лучше уж отказаться от водки. Он прошел в ванную, открыл кран. Как следует вытер ботинки, чтобы на них не оставалось соли.

Снова раздался звонок.

На пороге стояла какая-то старуха. Лица ее в полумраке почти нельзя было разглядеть. Тучная фигура расплылась, как подтаявший снежный ком. То немногое, что угадывалось в ее облике, привело Казика в ужас. Он знал, что никогда не видел эту женщину, но человек иногда способен распознать то, с чем никогда в жизни не сталкивался: получивший пулю в сердце мгновенно понимает, что пришла смерть.

Женщина тяжело дышала.

— Не сердитесь, что побеспокоила, пан доктор, — сказала она, ухватившись за дверной косяк. — Я увидела, что у вас еще горит свет.

Все в доме называли Рутковского «пан доктор».

— Уже очень поздно, — сказал Рутковский. — Я собирался лечь...

— Мы живем на первом этаже, — сказала женщина. — Позвольте присесть на минутку... Поднялась по лестнице, и от этого мне еще хуже стало, пан доктор.

Женщина пошатнулась. Казик помог ей войти, усадил ее. Лишь сейчас он заметил, что в лице у нее ни кровинки.

— Вам плохо?

— У меня с коронарными сосудами не в порядке.

Она вытащила какой-то мятый рецепт из потертой черной сумки.

— Во время приступа мне делают укол... Может, найдется у вас дома это лекарство, пан доктор?

Казик прочел рецепт и удивленно уставился на женщину.

— Здесь какая-то ошибка: я вовсе не врач.

— Разве вы не доктор Рутковский?

— Все верно, — сказал К а з и к, — но только доктор философии.

— Значит, не врач?

— Н е т, — сказал Рутковский. — Я — писатель.

Старуху даже это легкое разочарование взволновало. Веки ее часто моргали, рот приоткрылся, и слышно было, как воздух со свистом входит и выходит при дыхании.

— Когда-то у меня снимала комнату ж е н щ и н а, — обессилев, произнесла старуха. — Так у нее муж тоже был писатель.

— Как его звали? — спросил Рутковский. — Я почти всех писателей знаю.

— Теперь уж не припомнишь. Да его, наверное, нет в живых, он ведь находился в гетто.

— А его жена?

— Она-то н е т, — сказала старуха. — Она снимала комнату,

потому как за ней ухаживал немецкий офицер.

— Любопытная история, — заметил Казик. — Но вам лучше отдохнуть, — добавило н. — Не выпьете глоток водки?

— Да, пожалуй.

Казик принес ликерную рюмку. Он направился было в кухню, но тут ему вспомнился мозаичный пол, хрустящий под ногами, и он предпочел принести из ванной стакан простой воды.

Женщина выпила воды, но одышка не прекращалась. Тело ее завалилось набок, руки безвольно свисали с подлокотников кресла.

— Как вы себя чувствуете?

— Видно, без укола не обойтись.

— Сейчас я позвоню своему врачу.

Доктор Богдан, врач театра, жил совсем неподалеку и машину свою обычно оставлял перед домом. Телефонный звонок поднял его с постели, но врач обещал подъехать и привезти лекарство, название которого Казик продиктовал ему по рецепту.

— Не сердитесь, что столько хлопот вам причинила, — оправдывалась женщина. — Всего две недели, как мы сюда въехали, откуда же мне было знать, что пан доктор вовсе и не врач... Кстати сказать, его тоже так называли: «пан доктор».

— Кого?

— Да писателя этого, который убил свою жену.

— Убил? — переспросил Казик. — Раньше вы об этом как-то не упоминали.

— Так ведь он запретил ей видаться с сыном.

— Ну знаете ли, это не одно и то же!

— А жиличка моя души не чаяла в своем ребенке, — пояснила старуха. — Только и слышишь бывало: «Сокровище мое, ясочка ненаглядная...» Нешто можно было так унижать ее?

— Унизить человека — еще не значит убить его, — сказал Казик. — А сейчас отдохните, все эти разговоры вам только во вред.

— Для иного человека унижение хуже смерти, — продолжала женщина, словно и не слыша его замечания. — Жиличка

моя уж на что раскрасавица была и гордячка, а раз как-то присела ко мне на постель да как заплачет. «Тетя Малгося, — говорит, — больше мне жить не для кого». Я давай ее утешать, да куда там! Ночью пошла она на сортировочную станцию — ей, вишь, втемяшилось, будто сыночек ее там, — и сама, по своей воле, села в вагон с еврейскими детишками... А ведь у нее документы все были выправлены, будто у чистокровной арийки, и врач-немец за ней ухаживал, в чине майора.

— Выходит, это не было для нее унижением — немецкими документами пользоваться? — раздраженно спросил Рутковский. — И из-за майора своего она ведь не умерла со стыда!

— Это другое дело, — отмахнулась женщина. — Майор ее изнасиловал.

— Вы вправду верите, будто женщину можно изнасиловать?

— А неужто вы думаете, будто нельзя? — удивленно спросила старуха.

— Разве что втроем против одной.

— Тут и один на один совладать можно, — сказала женщина. — Вот если, к примеру, мужчина сильный, не хуже обезьяны. Да еще оплеуху закатит и одежду сорвет, как с моей жиличкой вышло!

— Вам необходимо отдохнуть, — сказал Рутковский.

— Думаете, мне было приятно, что немецкий майор шастает к моей жиличке, как к себе домой?

— Помолчите, пожалуйста! — одернул ее Рутковский. — Вам вредно так много говорить.

Однако старуха попросту не слышала его замечаний.

— А после мое отношение к нему изменилось, потому как и сам майор переменялся. Видать, совестно ему стало. Придет, бывало, и даже мне руку целует, а уж жиличку-то мою все цветами задаривал да стихи ей читал... «Тетя Малгося, — говорит мне как-то жиличка, — теперь мне ничего не стоило бы выставить его подобру-поздорову... Но тогда я не смогу больше отправлять ему посылки».

— Кому? — спросил Рутковский.

— Да писателю своему.

— Чушь какая! — окрысился на нее Рутковский. — Тому

писателю благотворительные посылки приходили из шведского посольства.

— Какое там! Ему присылала жена, все до единой.

— Какое бессовестное вранье! — возмущенно воскликнул Рутковский. — Да он бы ни за что от нее не принял!

— Ну да, не принял! — тяжело дыша, возразила женщина и вдруг поднялась с кресла. — Денщик майора таскал ему то кофе, то шоколад да консервы...

— Сядьте на место! — резко прикрикнул на нее Рутковский. — Что вам нужно?

Женщина на его слова и ухом не повела. Теперь о ее дурном самочувствии напоминало лишь тяжелое, с присвистом, дыхание. Вперевалку, но довольно бодро она прошлепала на кухню — каменный пол противно заскрипел у нее под ногами, — проковыляла по всем комнатам, всюду оставляя за собой распахнутые двери и включенный свет. И наконец она остановилась на пороге детской, одной рукой держась за ручку двери, а другой шаря впотьмах.

— Где у вас тут свет зажигается? — прерывисто дыша, говорила старуха. — Ура! — воскликнула она, нащупав выключатель. — Да вот же он! Так и знала, что больше ему и быть негде! — она указала на коня-качалку. — И коня этого жиличка моя прислала.

— Понятия не имею, как он здесь очутился.

— Мой внук отыскал его в дровяном подвале, — удовлетворенно пояснила женщина, — и играл с ним во дворе. А потом вернулся домой привратник и говорит: это, мол, чужая вещь, когда-то сынок пана доктора с этим конем забавлялся.

— Он ошибся, — сказал Рутковский. — Это совсем другой конь.

— Жиличка при мне его в бумагу упаковывала.

— Что тут спорить: все эти качалки одинаковые.

— А эта не такая, как другие! — заявила старуха. — Я ее из всех узнаю. Помнится, еще жиличка сказала: «Садитесь, я вас покачаю, тетя Малгося!»

Она неожиданно прыснула со смеху — совсем как ребенок — и с грехом пополам взобралась на качалку. Зрелище этой

огромной черной туши, перевешивающей по бокам игрушечной лошадки, было поистине ужасающим.

— Немедленно слезьте оттуда! — закричал на старуху Рутковский, в ужасе пытаясь подступить к ней то с одной, то с другой стороны. Однако старуха и не думала послушаться его окрика. Словно вдруг почувствовав себя ребенком, она, громко хихикая, принялась дразнить Рутковского.

— Противный дядька! — кричала она. — Чего ты не даешь мне покачаться? Небось завидки берут? У-у, злючка-колючка, убил — не пожалел родного сыночка!

Протянутая было к ней рука мужчины замерла в воздухе.

— Замолчите! — хрипло проговорил он. — Ведете себя как несмышленый ребенок!

Старуха продолжала качаться на лошадке.

— И жену довел до смерти! — хихикала она. — Как только не совестно? Дядька — убивец, душ погубивец! — вопила она с идиотской ухмылкой на обрюзгом лице, словно под убийством подразумевала какую-нибудь развеселую детскую проказу.

— Вы не соображаете, что говорите! — закричал и Рутковский. Он хотел подойти и стащить ее с лошадки, однако ноги отказались ему повиноваться. И он лишь издали покрикивал на нее. — Немедленно слезьте оттуда и ступайте на место!

Старуха, как нашкодивший ребенок, вдруг посерьезнела и без звука подчинилась окрику. С трудом переводя дыхание, измученная непривычным физическим напряжением, она поплелась опять в кабинет и рухнула в кресло. Одышка ее усилилась, и слов почти нельзя было разобрать; оставалось лишь предположить, что она бормочет какие-то оправдания. У нее и в мыслях не было ничего дурного, просто она страсть до чего любит качаться, а стоит ей только сесть на качалку, как она от радости себя не помнит. И если пан доктор позволит, ей хотелось бы объяснить свое поведение.

Однако до этого дело не дошло, поскольку — к величайшему облегчению Рутковского — раздался звонок в прихожей: пришел врач. Все сразу встало на свои места и затихло. А ведь до этого просто стены ходуном ходили, готовясь рухнуть.

Доктор Богдан, должно быть, только что вернулся из отпуска:

кожа его была покрыта ровным шоколадно-смуглым загаром. Молодость била из него с такой неприкрытой дерзостью, как свет из электрической лампочки. Все у него делалось быстро. Он подбадривающе похлопал Рутковского по плечу, затем поспешил к больной и осмотрел ее. Впрочем, с ней он управился тоже быстро.

— Жаль, что ты позвонил несколько поздно, Казик, — сказал он, закончив осмотр.

— Почему это поздно?

— Да потому, что ей врач уже не нужен, — сказал Богдан.

Причиной смерти, сказал он, послужил разрыв сердца, а смерть, по его словам, наступила четверть часа назад.

— Четверть часа?

— По меньшей мере, — подтвердил врач. — Она уже остывает.

Рутковский закрыл глаза руками. Все поплыло перед ним: фигура доктора Богдана, предметы обстановки, и стены, казалось, опять вот-вот рухнут.

— Этого не может быть!

— Отчего же?

— Когда ты позвонил в дверь, мы с ней беседовали вовсю. Она качалась на лошадке. Я еще даже с ней поссорился...

— Ей теперь ссориться разве что с ангелами, — улыбнулся врач. Затем подошел к Рутковскому и повернул его к свету. — Что с тобой? — спросил он. — Тебе нехорошо?

— Голова кружится.

— Ничего удивительного, сказал врач, набирая номер «скорой помощи». — Вся эта история подействовала тебе на нервы.

— Понимаешь, меня весь день преследуют галлюцинации.

— Это все от жары, — сказал врач. — Прими душ, ложись и выпишь как следует.

Казик послушался совета. Пока он принимал душ, санитары увезли тело покойной. Он лег, но голова по-прежнему кружилась. Стены, уставленные книжными стеллажами, колыхались из стороны в сторону, то прогибались внутрь комнаты, то грозили завалиться наружу.

- Голова все еще кружится?
- Нет, прошло.
- Я нашел в кухне водку. Выпьешь немного?
- Поставь тут, может, потом захочется.
- Сможешь уснуть?
- У меня есть люминал.
- Побывать с тобой?
- В этом нет необходимости.
- Спокойной ночи, Казик.

Богдан еще раз улыбнулся, затем его загорелое лицо вдруг исчезло, и все-все загорелые лица на свете — тоже. Хлопнула дверь парадного, от дома отъехала машина, настала тишина. Рутковский протянул руку к пиджаку и принял таблетку люминала. Запил ее глотком водки. Потом еще и еще одну, каждый раз запивая водкой.

Ему почудилось, будто его окликнули по имени. Он сел в постели, открыл глаза. Все вокруг сплошь было залито серебристым сиянием. Серебряная пыль покрывала платформы сортировочной станции, серебрились клубы паровозного дыма, отливали серебром товарные вагоны. И везде были расставлены охранные посты. Эшелон казался погруженным в абсолютное безмолвие, даже пар из паровоза вырывался беззвучно. Лишь однажды к сияющему небосводу устремился детский крик, и снова наступила тишина. Тишина и холодноватое, серебристое сияние.

— Казик! — крикнул кто-то.

Дверь четвертой от паровоза теплушки была наполовину отодвинута. В проеме стояла Ядвига... Ее планетой была Луна. Кожа Ядвиги, пропитанная лунным светом, сверкала, переливалась, просвечивала сквозь одежду. Но тело ее даже при этом мертвенном освещении казалось обильно плодовитым и животворным, как у библейских праматерей, из лона которых вышли все сыновья и дочери земли.

— Казик! — позвала она о п я т ь . — Пойдем с нами!

Он было поддался зову, но вовремя спохватился. Ведь он стоял под лунной сенью, вплотную к стене соляного склада; шагах в десяти от него, на углу склада, находился часовой.

Казик замер как вкопанный, боясь шевельнуться. Все вокруг было усыпано солью, и, сделай он хоть шаг, соль захрустит у него под ногами.

— Казик! — еще раз позвала Ядвига.

Он затаился, не дыша. Появился какой-то железнодорожник и дал знак к отправлению; на голове у него была немецкая фуражка, зато вместо формы — такой же оранжево-красный свитер, как на познанском парне. Серебристый пар вырвался из паровоза. Состав дрогнул и, стуча колесами, скрылся вдали.

Казик расшнуровал ботинки и в одних носках, на цыпочках, зашагал по лунной дорожке к темному, погребенному в руинах городу. По пути он столкнулся с немецким патрулем; солдаты фонариком посветили ему в лицо, заметили, что он в одних носках, а ботинки держит под мышкой, но ничего не сказали; с легким презрением махнули рукой: проходи, мол.

Обратное превращение

(Из цикла «Поклонение Кафке»)

Служанка вернулась после обеда. Она даже не заглянула в гостиную засвидетельствовать хозяевам почтение, а, оставив на кухне свою шляпу с перышком и прихватив принесенный с собою мешок из-под картошки, напрямик двинулась в комнату Грегора, чтобы выполнить свое обещание — убрать бранные останки чудовищного насекомого, которое в течение долгих месяцев приводило в отчаяние все семейство Замза.

Однако когда служанка с мешком под мышкой, по своему обыкновению громко хлопая дверьми, вошла в комнату, она нигде не обнаружила трупа насекомого. Вместо этого она заметила молодого мужчину, который в ночной сорочке, но без подушки и одеяла спал сном праведника на кожаном диване.

— А ты как сюда попал? — спросила служанка, дюжая, костистая женщина с седеющими волосами, которую трудно было чем-либо удивить. Пожав плечами, она с силой хлопнула дверью и пошла к хозяевам выяснить, что это за мужчина.

От стука двери Грегор Замза проснулся. Сознание с трудом возвращалось к нему, и это было сознание досадной приниженности, которое мы обычно испытываем, пробуждаясь от мучительных снов. Ему, к примеру, вроде бы снилось, будто бы он превратился в какое-то насекомое размером с человека; на миг ему даже почудился собственный, разделенный дугообразными чешуйками, живот и многочисленные тонюсенькие, хрупкие ножки, — но кошмар тотчас и рассеялся, когда он окинул себя взглядом и увидел знакомую ночную сорочку, из-под которой высовывались его собственные ступни. Тот, кто лежит здесь, — это и есть он сам, доподлинно реальный Грегор Замза, коммивояжер торговой фирмы сукон.

Но по мере того как в голове у него прояснялось, он стал

подмечать некоторые странности, которым не находил объяснения. К примеру, у него почему-то испортилось зрение, ведь даже при ярком свете весеннего утра он весьма неясно видел углы комнаты. Или, может, он еще не совсем проснулся? Вряд ли — ведь слух его работал безукоризненно, четче, чем когда-либо; он мог различить даже шелест крылышек мухи, которая летала меж оконных рам. Грегор с силой протер глаза и уставился в одну точку; он успокоился, потому что зрение явно обретало прежнюю остроту, и тут ему бросились в глаза некоторые перемены.

Во-первых, куда девалась вся его мебель? Где платяной шкаф, где письменный стол, в котором наряду со многими прочими вещами хранились инструменты и лобзик? Отчего у комнаты такой голый вид? Кроме кожаного дивана, он увидел вокруг лишь стол, стул и кое-какой хозяйственный хлам вроде мусорного ведра, которому совершенно не место в комнате!

Но если зрение его — пусть и временно — несколько испортилось, то слух невероятно обострился. Малейший шум и самый приглушенный шепот в гостиной он различал абсолютно отчетливо, хотя там всячески старались, чтобы сюда не просочилось ни звука. Однако он даже по обрывкам звуков и скрипу стульев мог определить, что вся семья сидит за столом, прислушиваясь к словам какой-то незнакомой особы, как оказалось, новой служанки. На нее несколько раз шикали, после чего она продолжала свой рассказ, понизив голос. Зато отчетливее доносились приглушенные рыдания госпожи Замза и ласковый шепот сестры Грегора, пытавшейся успокоить мать. Порой за дверью наступала полнейшая тишина, удивленное молчание; в такие моменты Грегору чудилось, будто он видит, как родители и сестра внимательно смотрят на служанку, а затем обмениваются между собой многозначительными взглядами.

Однако факт, произведший такое ошеломляющее впечатление по ту сторону двери, еще большее потрясение вызвал у самого Грегора. Из слов прислуги и прорывающихся рыданий матери Грегор понял: то, что он принял за сон, оказалось явью, поразительно невероятной, чудовищной действительно-

стью. В разговоре упоминалось огромное насекомое, которое несколько месяцев гнездилось в комнате Грегора, по ночам спало под кожаным диваном, а днем на свободе ползало по стенам и потолку или же, опершись спиной о спинку стула, выглядывало в окно.

Обо всем этом в гостиной говорилось шепотом и в прошедшем времени, потому что, как оказалось, насекомое утром сдохло; однако для Грегора рассказ звучал тем более злободневно, что он осознал: все это произошло на самом деле и герой этих невероятных событий — он сам. Судя по всему, именно он по неизвестной причине временно прекратил свое человеческое существование и принял облик насекомого. У него отпали все сомнения после того, как он услышал прерываемые астматической одышкой слова матери:

— И вы, Анна, утверждаете, будто видели моего сына в его комнате?

В ответ прислуга заявила, что она не знает сына господ Замза, поскольку служит в доме всего лишь полтора месяца и за это время ей приходилось иметь дело только с этим «незнамо чем» — тут мать и сестра зашикали на служанку, чтобы та говорила потише, — но давеча, когда она хотела убрать останки, то вместо трупа обнаружила спящим на диване высокого темноволосого господина, а это «незнамо что» исчезло без следа.

— Господи! — вздохнула Грета. — Неужели ты наконец возвратил нам нашего Грегора?

Тут в гостиной опять наступила тишина, и Грегор чувствовал, что все четверо уставились на дверь его комнаты. Затем послышался звук отодвигаемого стула, и Грета, которую Грегор узнал по шагам, на цыпочках подкралась к его двери, прижалась к ней ухом и замерла, прислушиваясь. Чуть погодя, вероятно подбадриваемая остальными, она кончиками пальцев постучала в дверь и сдавленным голосом спросила:

— Это ты, Грегор?

— Конечно, я, Грета, кому же еще быть? — ответил Грегор, однако и сам почувствовал, что голос не похож на его прежний, — не только потому, что плохо подчинялся ему, как

и зрение поначалу, но к голосу его примешивались какие-то звуки, совсем не свойственные человеческой речи. Он не удивился, что сестра не поняла его и вновь повторила свой вопрос, еще более встревоженно, чем прежде. Это, однако, раздосадовало Грегора, и, дважды кашлянув, он раздраженно прикрикнул на сестру:

— Оставьте меня в покое!

— Грегор, Грегор! — воскликнула Грета в знак того, что на сей раз поняла б р а т а . — Скажи же что-нибудь!

Но он остался безмолвным. Сестра подождала еще какое-то время, а затем Анну услали, и сидевшие за столом родственники шепотом продолжали совещаться. Грегора это больше ничуть не интересовало. Он тихонько подошел к двери, повернул ключ и, опять усевшись на диван, погрузился в раздумья.

К тому времени — подобно зрению — восстановилась и ясность памяти, обрушив на него лавину вопросов, сомнений, тревог. Если действительно это он превратился в насекомое, то как произошло это превращение — внезапно или постепенно? Когда оно свершилось и чем было вызвано? И что послужило причиной обратного превращения?

В комнате повсюду густым слоем лежала пыль, на стенах и потолке чернело несметное количество каких-то точек. Грегор вскоре сообразил, что это следы его ног. Теперь ему вспомнилось, что благодаря клейкому веществу он с такой же легкостью сновал по потолку, как и по полу. И тут он вдруг подумал, что не так уж плохо ему жилось в бытность его насекомым, более того, помнится, когда миновало первоначальное чувство стыда, он испытал удовольствие от свершившегося с ним превращения. Конечно, существование насекомого тоже не ахти какое блаженство, но все же лучше, чем участь коммивояжера!

Он наслаждался, оттого что не приходилось из недели в неделю разъезжать по провинции, ночевать в сырых гостиничных номерах, целыми днями ходить из лавки в лавку, предлагая образцы сукон, а по возвращении домой глотать брюзжание управляющего, недовольного каждой заключенной им

торговой сделкой... В сравнении с этим быть насекомым и предаваться мирному созерцанию с потолка комнаты сочтешь истинным благом!

Но если это удалось ему осуществить, будучи насекомым, то почему бы не взбунтоваться против своей участи, вновь обретя человеческий облик? Правда, отец всегда пресекал подобные поползновения, но теперь, когда небезызвестный казус уже произошел и ему пришлось на время лишиться сына, то почему бы и не продлить этот срок? И тогда, стало быть, его час пробил! Грегор откажется от места коммивояжера, покончит с бессмысленной работой, которая из-за вечной перемены мест буквально отторгла его от человеческого сообщества, и подыщет себе такое занятие, при котором он прочно обоснуется на одном месте и обретет не только возможность к существованию, но и человеческие связи, приятелей, друзей... Глядишь, эта мучительная интермедия еще обернется ему на пользу! Ведь если он сумел найти успокоение даже при животном существовании, в полной приниженности, то почему бы ему не обрести достойную работу, радости жизни, друзей после этого столь неожиданного обратного превращения?

Грегор уже готов был одеться, открыть дверь и объявить о своем бесповоротном решении, когда из все ширящихся кругов памяти вдруг всплыл отец, возвышающийся над ним подобно некоему сверхчеловеку. Этот нечеловек, сверхсущество, по какой-то необъяснимой причине облаченное в мундир рассыльного с золотыми пуговицами, вне себя топя ногами, гоняло Грегора вокруг обеденного стола. От этой картины все предыдущие воспоминания предстали в ином свете, вынудив Грегора взглянуть на его недавнее существование не только своими глазами, но и глазами других людей. Ведь его не только стыдились, но и ненавидели, испытывали к нему отвращение и пытались от него избавиться, а иначе зачем бы стал этот великан в форме рассыльного гоняться за ним вокруг стола? И почему он бранил его, почему пытался растоптать ногами? А когда не смог догнать Грегора, то запустил в него яблоком, насквозь пробив спинной панцирь и нанеся ему незаживающую, болезненную рану...

Это воспоминание отрезвило Грегора. Как же им было не стыдиться, как было не ненавидеть его, когда превращение Грегора в насекомое лишило их не только единственного сына, но и единственного кормильца! Взгляд его остановился на большой двустворчатой двери в гостиную. Интересно, что сейчас думают о нем сидящие вокруг обеденного стола родственники, чего ждут и чего требуют от него?

В этот момент он услышал тихий стук в дверь, а затем смущенный голос матери.

— Сынок, дорогой мой, избавь нас от сомнений, — умолял сдавленный, с одышкой г о л о с , — ведь мы столько перестрадали из-за всего случившегося! Ответь же нам, правда ли то, чему мы не решаемся поверить? Неужели ты опять вернулся к нам, наш любимый Грегор, единственный наш сын?

Грегор кашлянул, а затем — теперь уже вполне внятно — заверил мать, что он действительно Грегор, без каких-либо отклонений, тот самый, что прежде жил в кругу семьи. Услышав это, мать расплакалась и лишь позднее, собравшись с силами, спросила, не голоден ли Грегор, не хочется ли ему пить и не желает ли он выйти в гостиную. На это он ответил, что и в самом деле голоден, но прежде всего хотел бы узнать, не терпели ли его близкие нужду вследствие того, что с ним — как он выразился — «произошел тот небезызвестный казус».

Если у него и были дурные предчувствия, то действительность далеко превзошла их. Истинной мукой было выслушивать, какая жалкая участь постигла его близких, пока он безответственно ползал по стенкам. Вскоре пришлось рассчитать прислугу и кухарку и удовлетвориться услугами женщины, которая лишь по утрам и вечерам приходила помогать по хозяйству. Затем они были вынуждены комнату с окнами во двор сдать троим жильцам. Грета, бедняжка, вот уже несколько месяцев как забросила игру на скрипке и устроилась продавщицей в магазин. Однако на прожить все равно не хватало, и произошло самое печальное: отец занял должность рассыльного в банке. Вот и сейчас на нем зеленый форменный мундир с золотыми пуговицами, в котором его целыми днями гоняют унижайшим образом, как мальчика не побегушках, за-

ставляют приносить завтраки для служащих!

Грегор был не в силах заговорить, настолько ошеломила его нарисованная картина. Но он еще не успел осознать всей тяжести обрушившихся на него переживаний, как вдруг услышал грузные шаги и устрашающий голос отца, заставивший его испуганно прижаться к стене.

— Пора покончить с жалобами, — обращаясь к сыну, сказал старший Замза. — Я рад, сын мой, что ты вернулся в лоно семьи, ведь мы столько перестрадали из-за последствий твоего легкомысленного шага. Но мы готовы простить тебе все при условии, что ты в добром здравии, а значит, можешь вернуться на свое прежнее место в фирме, где, надеюсь, оно занято кем-то лишь временно. Так что присоединяйся к нам, сын мой, сейчас подадут завтрак.

— Поторопись, Грегор, мне так хочется тебя повидать, — раздался и милый голосок Греты. Ей Грегор никогда не умел отказывать, и вот, хотя он с удовольствием оттянул бы встречу с отцом, он попросил принести ему костюм, чтобы переодеться.

Пока Грегор ждал, он вновь обдумал свое положение. После всего услышанного ему нелегко будет осуществить свое намерение. Отец обернет против него все невзгоды, обрушившиеся на семью в результате его превращения; но он не должен уступать, не должен колебаться... Он подыскивал убедительные аргументы и нужные слова, как вдруг обратил внимание, что по другую сторону двери не слышно ни малейшего движения и тишина эта затянулась...

— В чем дело, — спросил он, — почему вы не несете мне одежду?

Родственники по-прежнему молчали. Затем расплакалась мать и через какое-то время, задыхаясь от слез и астматической одышки, прошептала, что в трудную минуту, когда отложенные гроши были прожиты и даже последние драгоценности обращены в деньги, они были вынуждены продать и костюм Грегора... Эта новость сама по себе пришибла бы Грегора, но отец прибавил еще несколько фраз в качестве оправдания, однако обрушившихся на Грегора обвинением. Он

признает, сказал старый Замза, что продажа костюма бросает на них тень, но тут помочь может только взаимное благоразумие. Стало быть, Грегор должен простить им продажу его личных вещей, а он, отец, со своей стороны, закроет глаза на цепь забот и унижений, свалившихся на них из-за непостижимо странного решения Грегора.

— На какое это решение вы намекаете, папа? — спросил Грегор, вскакивая с дивана.

— Ты и сам прекрасно знаешь. Решение, которое привело к тому небезызвестному казусу.

— Но ведь это случилось не по моей воле! — вскричал Грегор.

— Тогда почему же я ношу форму рассыльного? Скажешь, случайно?

Грегора всякий раз, как он ввязывался в спор с отцом, грозило поглотить ощущение полной бессмысленности существования. Понапрасну были бы всякие попытки продвинуться к цели: их диалог, подобно сошедшему с рельсов поезду, никогда не приблизился бы к ней. Не раз он стоял перед отцом так, готовый взорваться от внутреннего напряжения и все же бессильный. Всю его жизнь непомерной тяжестью придавила необъятная туша отца и еще более необъятное нежелание понять собеседника. Вот и сейчас надо бы распахнуть дверь и прямо в глаза отцу отрубить, что с занятиями коммивояжера покончено, он желает выполнять достойную его работу и Грете больше не позволит служить в магазине, а даст ей возможность продолжить музыкальное обучение... Но разве вылезешь тут со своей правдой, откуда приходится отбиваться от столь грубых обвинений!

А не отбиваться было нельзя, поскольку за этими невероятными утверждениями стояло нечто, глубоко ранящее Грегора. Ведь все-таки именно он, Грегор Замза, шесть месяцев прожил под семейным кровом в облике омерзительного насекомого и к тому же временами вполне сносно чувствовал себя. Отец об этом, правда, не знает, однако наверняка догадывается, потому что, когда он намерен приписать Грегору низменные побуждения, его пронизательность бывает поистине

невероятной. И нельзя отрицать, что в результате его превращения именно отец подвергся наиболее болезненному унижению... Так что пришлось подойти к двери и продолжить спор.

— Ваши подозрения, папа, я отвергаю. И вовсе я не подстраивал тот небезызвестный казус, а сам оказался его жертвой.

— Я был бы готов поверить тому, если бы сей небезызвестный казус произошел не в понедельник.

— При чем здесь понедельник?

— А при том, что тебе как раз предстояло ехать в провинцию, сын мой!

От неожиданности Грегор даже не нашелся, что ответить. Конечно, утверждение, будто он предпочел превратиться в насекомое, лишь бы не разъезжать с образцами сукон, безрассудно; но у него нет ни единого аргумента, ни единого доказательства, которое исключило бы такое предположение; вот и получалось, что если он продолжит спор, то опять проиграет и даже на сей раз не сумеет изменить свою жизнь.

Но прежде чем ему пришел бы на ум подходящий ответ, вмешалась Грета. Она умоляла их обоих прекратить пререкания, а Грегора наконец выйти к завтраку. Тем более что мать, одолжив у одного из жильцов костюм, стоит под дверью, ожидая, когда ее впустят.

Грегор не впустил мать, лишь высунул руку за одеждой. Отец, однако, не преминул воспользоваться даже этим коротким перемирием.

— Лишь об одном тебя прошу, — прорвался его голос в дверную щель, — не вздумай повторить тот небезызвестный казус, иначе нам всем трои́м этого не пережить!

Услышав это, Грегор швырнул одежду на пол и даже от двери отошел подальше: перекочевал опять в свое убежище, на кожаный диван. Что он мог возразить на это? Ведь он и сам не знал наверняка, обязан ли он своим превращением лишь слепому случаю, или же в нем самом была заложена склонность стать насекомым. А теперь понапрасну он ворошит прошлое: ни малейшего намека на таковую склонность он не припоминает, но и начисто исключить ее тоже не может.

И если с ним один раз случилось такое, то где гарантия, что это больше не повторится? Тут тоже нечего возразить... Им вновь овладело чувство бессилия — как каждый раз, когда он терпел поражение в этих бесконечных спорах. Грегор слышал милый голосок сестры, зовущей его завтракать, но он уже и голода не испытывал, да и не знал наверняка, сможет ли ответить человеческим голосом. Он замер, в который уже раз доведенный до той степени одиночества и бессилия, когда форма существования становится безразлична. И все же он высунул ногу из-под ночной сорочки. Взглянул на нее и увидел, что это нога человека.

О, сладостная, сладостная!..

Всю ночь мы тряслись в промозглом купе пассажирского поезда. И всю ночь моросил дождь. На рассвете, когда мы прибыли в Витайош, дождь перестал, но я уже чувствовала, что в горле першит, а температура — тридцать семь и пять как минимум. «Неплохое начало новой жизни», — подумала я.

По счастью, у нас хватило ума воспользоваться будкой вахтера и привести в порядок волосы, лицо, губы, поскольку Сонтаг, главный врач больницы, оказался явным поклонником женского пола. Он метнул на нас три быстрых взгляда «стакато», зато Шани Гроха, судя по всему, не заметил, потому что обратился к нам так:

— Уважаемые сотрудницы, извольте раздеться и присаживайтесь.

Возможно, это какое-то извращение, но для моего слуха его предложение прозвучало так, словно помимо плащей оно распространялось на наши свитера, комбинации и прочие детали туалета. Знаменитый кардиолог производил впечатление приобщившегося к цивилизации выбритого, по-спортивному подтянутого морского пирата, у которого под белоснежным халатом вся грудь испещрена непристойной татуировкой. Его нельзя назвать неинтересным. Мой Никос — мужик что надо, однако лишь в том смысле, как, скажем, ружье — это ружье: он пригоден лишь для одной цели. Находиться с ним — все равно что играть такой колодой, где подобрались сплошь одинаковые карты. А ведь в карточной игре самое захватывающее именно то, что не знаешь, какая карта выпадет следующей.

Однако Сонтаг не удостоил меня ответным вниманием.

По возрасту главный врач находился где-то между пятьюдесятью и шестьюдесятью, но сейчас он с нетерпеливым лю-

бобытством подростка наблюдал за тем, как мы снимали с себя пальто; после — до, ре, ми — взгляд его пробежался по нашим ногам, ля, си, до — по талиям и бюстам и, наконец, как и следовало предположить, остановился на рекламе нашей фирмы: грудях Аги, напоминающих дыни-канталупы. Он судорожно сглотнул, кадык его провалился за тесный ворот халата и долго не вылезал обратно.

Я не видела лица Аги, но в этот момент она на всех волнах излучала твердое решение уступить желаниям Сонтага, по субботам на его «шкоде» навещать его дома и с помощью его связей опять перебраться в Пешт. Правда, Сонтага «подсидели» и он вылетел из столицы в Витайош, но отнюдь не производил впечатления надолго законсервированного в провинции. Как раз пока мы знакомились, к больнице подкатил сногшибательный «крайслер»: из клиники Лоранта привезли мать министра Ш. Сонтаг демонстративно сохранял спокойствие, даже не вышел поприветствовать больную, лишь бросил старшей сестре:

— В седьмую, — очевидно давая понять, что мамыши министров каждый день ломятся к нему в клинику, устраивая давку в дверях.

То, что Сонтаг не был выбит из седла, мы и сами могли высчитать. В этой захолустной районной больнице кадры до сих пор не задерживались, и Сонтаг явно не без помощи своих связей добился, что в прошлом году сюда перевели трех, а в этом году четырех молодых специалистов, к тому же не самых худших, потому что мы — три девушки — успешно начинали свою карьеру в Пеште, а Шани Грох — в Пече.

Старшая сестра подала кофе. Сонтаг пил без сахара. Аги вдруг осенило, что это — признак утонченности.

— Пожалуйста, сахар, коллега.

— Благодарю вас, мне тоже не надо.

Общность вкусов скреплена согласованностью улыбок. Ну и ну!

Давай, подружка, действуй. Только не надейся: я тоже ненадолго застряну в этом Витайоше.

Зашла речь о нашем распределении. Каждый высказал свои

пожелания, куда бы ему хотелось попасть. Затем Сонтаг начал жаловаться. И врачей-де не хватает, и сестер маловато, и с местами туго. А тут еще сельхозкооператив имени Первого мая: годами некому взять над ним шефство, а министерство каждые две недели надоедает. Он надеется, что среди нас найдется желающий.

Ледяное молчание.

— Неужели нет желающих?

Желающих нет, а почему — прямо-таки непонятно. Ведь до чего было бы здорово тащиться туда после работы, три-четыре часа вести прием больных, а на ночь глядя добираться опять в городок... К тому же пришлось бы иметь дело с членами кооператива, у них социальная страховка, значит, за работу никаких сверхурочных... Но этот святоша взирает на нас так, словно мы должны откликнуться чуть ли не наперебой. Взгляд его, обойдя всех поочередно, остановился на моих губах, словно ожидая от моей помады «Макс Фэктор» благословенного «да».

Я молчала, да еще как! В таких случаях рот у меня становится узким, как шрам на месте бывшего сабельного удара.

Новая пауза, и новый сюрприз.

В министерстве каждому из нас посулили отдельную комнату в так называемом корпусе «С», где живут только врачи и сестры. Сейчас выяснилось, что это здание еще во время войны было уничтожено бомбой, и с жильем дело очень худо. Правда, Сонтаг вместе со старшей сестрой составили для нас список адресов, где мы можем снять комнату за свой счет, а одному из нас предложено занять кабинет, где прежде делали электрокардиограммы; это здесь же, в терапевтическом отделении, возле палаты номер два.

— Ну, так как? Комнатка, правда, небольшая, зато светлая и теплая...

Очередная ледяная пауза. Четыре лица, застывших безо всякого выражения. И все мы четверо думаем об одном и том же: жить в отделении — значит нести постоянное дежурство. «Выручи, золотко, ты ведь так и так торчишь в отделении...» Плюс шум из палат, общая уборная с больными, да плюс коллеги, которые на твоей постели станут осматривать своих приватных

пациентов... Взгляд Сонтага после привычного кругового обзора опять остановился на мне.

— И доктор Орбан не согласится?

Ах ты моя прелесть! Пялишься на груди Аги, а от меня ждешь самопожертвования? Только ты не учел, что я по горло сыта добровольной жертвенностью. Все мое короткое существование — это сплошная цепь образцовых поступков вплоть до последнего моего примерного деяния, когда я добровольно вызвалась поехать в провинцию... Но на этом — точка! Как ни обаятелен ты, опальный профессор, на этот раз твои чары не сработают.

Гуськом мы направились к выходу. Сонтаг в дверях поочередно жал каждой из нас руку. Я была уже в коридоре, когда он окликнул меня вслед:

— Доктор Орбан! Можно вас на минутку?

Я вернулась. К чему бы это? Остальные заторопились, чтобы увести у меня из-под носа более или менее приличные адреса, — со мной вечно так бывает. Зато возможно, что интерес шефа с Аги переметнулся на меня: такое тоже случалось сплошь и рядом, но не столь быстро... Грудь Аги более ошеломительна; я впечатляю медленнее, но вернее. Меня нужно видеть много раз и в разной одежде — в свитере, полотняной блузке, в костюме и вечернем платье, чтобы наконец с большим трудом сложилось общее впечатление о моей фигуре, чего, в общем-то, я могу достичь вмиг, стоит мне раздеться... Ну, а так: минимум — три недели, максимум — шесть. Я была приятно возбуждена; еще бы, до сих пор я ни разу не одерживала победу нокаутом.

Не то чтобы она меня так уж интересовала эта победа: ведь я люблю Менелая Никоса Евангелидеса. Но тем не менее я, снова присаживаясь к столу, постаралась, чтобы с другой стороны письменного стола мои ноги предстали в наиболее эффектном ракурсе. Есть у меня на этот случай и подходящее выражение лица — медички без комплексов, которая не делала из любви бог весть какого события, но именно сию минуту и здесь, в заштатной районной больнице, решила положить конец собственной невоздержанности... Сонтаг остановился передо мной и испытующе уставился мне в лицо.

Знаю я этих стареющих сластолюбцев. Или жеманничают месяцами, или тотчас приступают к делу. Итак, возможны два варианта. Если он усядется на ручку моего кресла, то в силу вступает второй вариант, если же спросит: «Вы разрешите называть вас Илдико?» — то действует первый.

Однако я неверно рассчитала: не случилось ни первого, ни второго. Последовала такая фраза, в которой трижды было употреблено официальное слово «товарищ».

— Товарищ Гонда проинформировала меня, что вы, товарищ Орбан, единственная из всех вновь прибывших товарищей — член Союза молодежи.

Выходит, промашку дала. Я поспешно убрала с физиономии выражение неприступной святоши и нацепила другую маску. Ясное лицо, наивная, но доверчивая улыбка. Я тоже знаю, что к чему. У меня свои планы. У меня заветные мечты. Я хочу завладеть тобою, непредсказуемо дивная, сказочно прекрасная и неуловимо быстролетная, о, сладостная, сладостная жизнь! К тридцати годам, когда фигура у меня еще не успеет испортиться, я хочу стать адьюнктом, но не в Витайоше, а в Пеште, в больнице св. Яноша, где мой отец — такая мелкая сошка в отделе расчета зарплаты, что ему приходится делить письменный стол еще с одним бухгалтером.

— Чего же хотят от меня товарищи? — поинтересовалась я.

— Речь идет о маме Р о з е , — пояснил С о н т а г . — Ее сегодня перевезли из клиники Лоранта... Вы ведь, кажется, говорили, будто собираетесь стать кардиологом?

— Да, мне хотелось бы.

— Вы не против работать в моем отделении?

— О, еще бы!

— Тогда вам все же придется поселиться в кабинете ЭКГ.

— Какая в этом необходимость?

— Мама Роза нуждается в постоянном врачебном наблюдении.

— Разве ассистента недостаточно?

— Для доктора Ш р е я , — сказал он тихо, словно выдавал мне какую-то тайну, — его двое детей — свет в окошке.

— Зато он живет при больнице, — сказала я.

— Зато у мамы Р о з ы , — сказал о н , — сын — министр.

Наши взгляды встретились. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга в полном молчании. Я люблю, когда мужчина умен, но еще больше люблю оказаться хоть чуточку умнее. Я точно знала, что у него на уме. Я — член Союза молодежи, значит, лучше иметь меня союзником, нежели врагом. Мама Роза — выгодное дельце, и, судя по всему, Сонтагу окупится, даже если он возьмет меня в компаньоны. Но вот окупится ли мне?

— Во мне пятьдесят килограммов, — с сожалением сказала я. — Если я не наберу свои девять часов сна, то на следующий же день свалюсь с ног.

— Ж а л ь , — сказал он.

Сонтаг поднялся. Проводил меня до двери. Уже стоя в дверях, он светским тоном, словно не относящуюся к нашему разговору, но забавную сплетню, рассказал, что на конгрессе кардиологов в Стокгольме — куда его самого не пустили — блистательный Аладар Машшань позволил себе проехаться насчет нашей медицины. Правда, в тот момент он находился в подпитии, однако шведские газеты забыли упомянуть об этом.

Я остановилась. Когда Сонтага вышибли из кардиологической клиники на улице Мадарас, Аладар Машшань стал его преемником. Аги, милочка, подумала я, не сердись. Все же я первой выберусь из Витайоша.

— У этой женщины, — спросила я, — тяжелое состояние?

— Довольно тяжелое.

— Тогда я все же опробую кабинет ЭКГ.

— Очень мило с вашей стороны, — сказал он.

— Но если я не смогу там с п а т ь , — сказала я, — то придется мне перебираться в другое место.

— Вы спокойно будете спать т а м , — сказал о н . — А товарищ Ш. в своей матери души не чает.

Он проводил меня по коридору. Открыл кабинет ЭКГ. Пропустил меня вперед и сам вошел тоже. Я услышала, как ключ повернулся в замке.

— Мне раздеться? — спросила я.

— Волосы твои я хочу распустить с а м , — сказал он.

— Что с вами, милочка моя?

— Ничего, мама Роза.

— Да ведь у вас температура.

— Вряд ли, мама Роза.

— Глаза у вас уж больно блестят.

— Просто горло опять баракхлит, мама Роза.

— Надо бы вам поостеречься, мил а я , — говорит мама Роза и осуждающе качает головой, будто вовсе и не она моя пациентка, а, напротив, я — ее больная.

Она прикипела ко мне душой с самого начала. Я росла без матери, знаю только, что, когда отец женился на ней, она была уборщицей на железной дороге. Как и мама Роза; только та работала на станции «Ференцварош», а моя мать — на Восточном вокзале. Да, Сонтаг знал, что делает. Их, всех этих Сонтагов, Лорантов и прочих светил-профессоров, старушка почитала за каких-то полубогов; ей было не под силу вообразить, будто у них тоже могут быть свои заботы, трудности, неосуществимые желания. Во время обхода она усаживалась в постели и, нервно комкая простыню, пыталась понять, что говорит профессор, но это ей удавалось слишком редко: взволнованность и подобострастие лишали ее разума.

Человеком она была умным, а вот пациентка из нее получилась бестолковее некуда. Ее округлое, добродушное лицо было сплошь усажено висячими родинками, как витрина овощной лавки — грибами. Стоило Сонтагу остановиться у ее постели, и она тотчас вспыхивала всеми своими родинками, даже глаза у нее делались навывкате — точь-в-точь близнецы-родинки, наделенные зрительными способностями. Но при этом она ничего не видела и не слышала; когда Сонтаг со своей свитой поворачивал к выходу, она умоляюще шептала мне вслед:

— Погодите минутку, золотце.

Ей не совсем верилось, будто я — дочь простой уборщицы — такой же врач, как другие. Она гоняла меня то за судном, то за почтовыми марками, то за рогаликами. А раз как-то послала в лавку за печеньем с начинкой, и, когда я выполнила поручение, она, интимно подмигнув, великодушным жестом сунула мне в карман десятку. По-моему, в ее глазах я была чем-то

вроде сиделки, ну разве что не обычной, а классом выше.

Да, Сонтаг знал что делает.

В ту памятную субботу, после всегдашнего блицобхода, завершающего неделю, она опять упросила меня задержаться у ее постели.

— Что бишь господин профессор-то сказал, золотце мое?

— Катетеризация состоится только в четверг.

— А почему не во вторник, милая?

— Потому что профессор Шебешта свободен только по четвергам.

— И он специально ради этого приедет сюда из Будапешта? — спросила мама Роза.

— Он во что бы то ни стало хочет сам присутствовать при обследовании.

— Пошли ему бог доброго здоровья, — вздохнула мама Роза, и глаза ее наполнились слезами.

Министра Ш. я никогда не видела в жизни, только по кинохронике да по телепередачам знаю, что это упитанный, здоровый человек. А меж тем в прежние времена он не раз сидел в тюрьме — и хоть бы что! Но каждый час долгих лет его заключения каплей яда проникал в сердце мамы Розы. Со временем, когда она прекратит свое земное существование, ее можно будет назвать героической жертвой тревоги за сына.

Тянуть ей осталось недолго. При такой тяжелой декомпенсации сердцу необходим всего лишь покой да двадцать капель дигиталиса по три раза в день. Но маме Розе этого мало; чем больше носятся с ее сердцем, тем она счастливее. Старушка блаженствует оттого, что в «великой пятерке», в кругу Лорант — Петц — Сонтаг — Шебешта — Бокша, ее передают из рук в руки, перебрасывают из клиник в санатории, из санаториев на лечебные ванны и при этом без конца испытывают на ней новейшие лекарства и методы. Вот теперь как раз на очереди катетеризация сердца.

Она заставила меня подробно рассказать всю процедуру, как введут ей в вену у локтевого сгиба тонюсенькую трубочку, как прогонят ее по всей вене вплоть до самого сердца. Старушка ахала, удивлялась, содрогалась от ужаса и млела от счастья.

Затем призадумалась.

— А почему мне не могли это сделать в клинике Лоранта? — спросила она.

— И там могли бы сделать, — сказала я.

— Тогда зачем же я здесь? — допытывалась она.

«Наконец-то! — подумала я. — Да здравствует доктор Рудольф Сонтаг, директор кардиологической клиники на улице Мадарас. Да здравствует Илдико Орбан и да здравствует мама Роза!»

— А затем, — сказала я, — что это — виртуозная процедура, и тут профессор Сонтаг является непревзойденным мастером.

— Да, руки у господина профессора особенные, на редкость, — сказала мама Роза.

— Верно, — сказала я. — Редкие руки, и ум на редкость.

— А почему это, — продолжала размышлять вслух мама Роза, — человек с таким даром божьим застрял в Витайоше?

— Не знаю, мама Роза, — сказала я. — Интриги...

— Интриги? — удивилась она. — Да нешто это справедливо — такого заслуженного человека в провинции держать, когда ему место в Пеште! А вы как думаете, золотко мое?

— По-моему, вы правы, — сказала я.

— А что сказал бы на это господин профессор?

— По-моему, он был бы рад, — сказала я.

— Тогда я поговорю с сыном! — сказала мама Роза. — Или лучше не заводить речи?

— Нет, почему же, — сказала я. — Вы уж, пожалуйста, поговорите.

Пешт. Ах ты, уродливый, обшарпанный старикашка Пешт, воображающий себя прекрасным! Мастерская дядюшки Криса на склоне Крепостной горы, откуда весь город как на ладони. Сумерки сгустились, и сейчас как раз тот момент, когда последняя дневная краска — темно-серая — тихо борется со смертью, а затем угасает. Пульсирующей лентой вспыхивают уличные фонари. Прокуренное мужское дыхание у меня за спиной. О, Никос!

Мне хотелось улыбнуться, но я умею владеть собой. И все же мама Роза что-то заметила по моему виду.

— Сейчас вы получше выглядите, милая.

Ах ты, ненаглядная моя старушка! Сладостная-сладостная...

— Наверное, температура спала, — сказала я.

— Надо бы вам поберечься, — призвала меня к порядку мама Роза и в назидание рассказала случай из клиники Шебешты, где она лежала в двухместной палате с одной актрисой. У актрисы этой были камни в печени, и она поведала маме Розе, что в этой палате, еще до них, умерла цветущая молодая женщина, которую тоже лечили от камней в печени. Делали все, что только можно, а женщина однажды ночью начала задыхаться да так и умерла от удушья. Потом при вскрытии оказалось, что у нее была чахотка, но женщина стеснялась, бедняжка, сразу на несколько болезней жаловаться.

Я рассмеялась.

— Ну, там не совсем так было, мама Роза.

— Вот и сейчас вы опять с трудом сглотнули, милая, — предостерегающе заметила она.

— А ведь у меня даже и не першит в горле.

— Давайте все-таки посмотрим ваши миндалины, — сказала она.

Перед профессорским обходом мама Роза каждый раз пудрилась. Мне пришлось взглянуть на себя в зеркальце ее пудреницы. Миндалины не были воспалены. Но позади, за язычком, довольно глубоко внизу вроде бы виднелась небольшая припухлость.

Я стерла с зеркальной поверхности налет пудры. Опухоль по-прежнему виднелась. Ее нельзя было назвать большой или покрасневшей, но сердце у меня всполошенно дрогнуло.

Я вернула зеркальце маме Розе. Что за чушь! Мне всего двадцать четыре года.

— Ну вот я и выздоровела, мама Роза, — сказала я.

Через полчаса я поднялась к Руди. У него сидел стокилограммовый Р., знаменитый кинорежиссер, которого мы «для небольшого завершающего курса лечения» передавали Виллибальду Бокше. Я выждала, пока иссякнет поток его благодарного красноречия, а затем плюхнулась на освободившееся место.

— Ты сможешь пережить хорошую весть? — спросила я.

Пока я пересказывала наш разговор с мамой Розой, кадык его ушел вниз и так долго не появлялся обратно, будто опустился до пупка. Глаза Руди блеснули, как спичка, которая только вспыхнула, но не зажглась.

Он сказал:

— Гений.

Я сказала:

— Рада стараться.

Он сказал:

— Через два месяца мы будем в Пеште.

Я сказала:

— Дай-то бог.

Мы сидели, молчали. Да и о чем тут было говорить: мы давным-давно все продумали и обсудили. Было тихо. Я любила его кабинет. Здесь всегда хорошо пахло. Руди ничего не жалел для себя: курил американские сигареты, мылся английским лавандовым мылом, даже от костюмов его исходил приятный запах, словно бы терпкий дух овечьего помета, пикантно приглушенный, так и сохранялся на материи его костюмов. Мне кажется, больше всего я любила эти запахи, окружавшие его. Насчет этого я очень чувствительна.

У Никоса, которому двадцать два года, я люблю запах самой кожи; у Руди — лишь эту оболочку из запахов, которая его окружает.

Он выглянул в окно. Во дворе кроваво-красным блеском полыхала «шкода».

— Пора ехать, — сказал он.

— Да, конечно, — сказала я. — Поторопись, — сказала я. — То есть обожди, — сказала я. — Сначала посмотри мое горло.

Мы подошли к окну. Он смотрел мое горло, а я следила за его глазами. По тому, как сузились его зрачки, я сразу все поняла.

Пока Руди был занят обследованием, он обеими руками держал меня за плечи. Сейчас он выпустил мои плечи; и словно все выпустили меня из рук, все люди на земле, все врачи, вся наука, словно само земное притяжение отпустило меня.

— Не нахожу ничего особенного, — сказал он, — но на всякий случай принеси ларингоскоп.

Обычно я всегда ношусь бегом. Оп-пля! — вдоль по коридорам, а по лестнице — через две ступеньки, все равно вверх или вниз... Сейчас мне было не к спеху. Ноги сделались тяжелые, коридор показался непривычно длинным, и я не торопилась — пойду-пойду и остановлюсь. Сверила свои часы с теми, которые висят над буфетом. Помню, было двадцать минут двенадцатого.

— Ничего у тебя нет, — сказал Руди, снимая зеркало.

— Тогда хорошо, — сказала я.

— Просто миндалины слишком чувствительные.

— А повышенная температура? — спросила я.

— По той же причине.

— Но иногда у меня першит в горле.

— Все одно к одному.

— У меня всегда было с горлом не в порядке, — сказала я.

— Это уж у тебя конституция такая, — сказал он.

— Значит, ты ничего не находишь? — спросила я.

— Глотаешь ты свободно, без помех? — спросил он.

— Да, — ответила я.

— Ну, вот видишь, — сказал он.

— Спасибо, — сказала я.

— Не за что.

Он выглянул в окно. Я знала, что он хочет сказать. В таких случаях лучше уж произнести самой: не только потому, что говорить легче, но и слышать из собственных уст тоже легче.

— Не зайти ли мне к Ольге? — спросила я.

— К Ольге? — задумчиво протянул он, словно ему самому и не пришло бы в голову предложить мне сделать биопсию. — Ну что ж, это не повредит.

— Ты подождешь? — спросила я.

— Ну конечно, — сказал он. — За час у нее все будет готово.

Ольга Бидерман была страстной поклонницей театра, а точнее говоря, своим человеком в театральном мире. По субботам прямо с вокзала она спешила в эспрессо «Артист», чтобы войти в курс всех театральных сплетен за неделю.

Когда я постучала, она подрисовывала брови.

— Ай-ай-ай! — сказала она, заглянув мне в горло, примерно с таким же раздражением, какое могло быть адресовано дырявому з у б у . — Я сразу же сделаю. Через час можешь прийти за ответом.

Было немного больно, но я не слишком чувствительна к боли. Я спустилась к себе в комнату. Посмотрела на часы. Вышла в буфет. Там тоже взглянула на часы. Выпила кофе. Вернулась обратно. Еще целый час!

Я вытянулась на постели, но меня раздражало тиканье наручных часов. Перевернувшись на живот, я сунула руку под подушку, но тиканье все равно было слышно. Ничего, думала я, ну и пусть его слышно. Можно даже еще и считать секунды. Я сосчитала до шестисот, потом посмотрела на часы. Прошло семь минут. Если не веришь в бога и не можешь заполнить этот час молитвой, то что делать с собою? Нечем ускорить ход времени и нечем отсрочить конец... Тут мне сделалось стыдно. Ведь я же умею владеть собой. К примеру, могу уснуть, когда пожелаю. Я взглянула на часы: оставалось еще сорок минут. Я закрыла глаза. Не знаю, как мне это удалось, но я заснула. Ровно через сорок минут я проснулась — такая измученная, словно у меня на спине дробили камни. Можно было пойти к Ольге, и все-таки я не шла.

Еще пять минут. Еще пять. Еще две. Ну уж нет! Не из страха, а из упрямства я выждала еще три минуты. С четвертьчасовым опозданием поднялась я в ларингологическое отделение.

Ольги и след простыл. В ее кабинете уборщица мыла окно.

— Где же доктор? — спросила я.

— Уехала.

— Как уехала? — спросила я. — Ведь поезд будет только через час.

— Доктор на машине у к а т и л а , — пояснила уборщица. — За этим толстым киношником прислали автомобиль из Пешта.

— Она не оставила тут анализ? — поинтересовалась я.

— Что вы, разве можно! — сказала о н а . — Доктор всегда все свои бумажки на ключ запирает.

Я огляделась повнимательнее. У лабораторного стола было два ящика, и оба были на замке.

— Что-нибудь срочное? — спросила уборщица,
— Любопытно было бы взглянуть, — сказала я.

— Чей анализ? — спросила она.

— М о й , — сказала я.

— Теперь придется ждать до понедельника, — сказала она.

Я подошла к окну. Оно было до того чисто вымыто, что стекла точно и не существовало. Я взглянула вниз. «Шкоды» во дворе уже не было.

— Господин профессор тоже уехал? — спросила я.

— Что случилось, доктор? — спросила она и шлепнула тряпку в ведро.

— Ничего, — сказала я.

Меня слегка качнуло. Но затем я подумала, что на месте Ольги я поступила бы точно так же. И на месте Руди я поступила бы точно так же. И еще я подумала, что не имею права роптать: молчок — и делу конец!

На следующий день, в воскресенье, с восьми утра я впервые в жизни заступила на дежурство в нашем отделении.

Выдержки у меня хватает. Я умею не думать о том, о чем не хочу думать. Умею экономно распоряжаться и жалостью: не только на других не растрчиваю попусту, но и на себя. По-моему, я ни разу не плакала со времен детства.

Когда я подавала заявление в университет и представляла себе, как через пять лет стану врачом, меня преследовали слова Костолани *: «И высшим знаком сострадания пусть будет трезвый, беспристрастный взгляд». Я и по сию пору придерживаюсь этого принципа. Правда, по мнению Никоса, я до такой степени боюсь впасть в сентиментальность, что даже и чувствовать не решаюсь, но это заблуждение. Я боюсь не самих чувств, а их неограниченной власти над человеком — тем более в наше время, когда всем правит разум.

Логика мышления не всегда привлекательна; к примеру, однокурсники в моем рационализме усматривали выпендрож. Это тоже заблуждение. Разве выпендриваются пчелы, строя свои

* Костолани Дежё (1885—1936) — известный венгерский писатель, поэт, публицист.

ячейки наиболее экономичным способом по законам улья, то есть в форме шестигранника? Вот также и я всего лишь подчиняюсь требованиям окружающей среды. Но при этом всячески стараюсь, чтобы поступки мои нельзя было мерить двойкой меркой — ни мне, ни кому-либо другому; этого требует моя совесть.

Скажем, вчерашний день меньше всего напоминал безмятежный девичий сон; и все же я не сдаюсь! А ведь замок в ящике Ольгиного стола был самый обычный, и подобрать к нему ключ не составило бы труда. Да чего там: ящик преспокойно можно было открыть с помощью ножа для разрезания бумаги, а еще проще было бы часов в пять позвонить Ольге в кафе «Артист». Но я не сделала себе поблажки. Человек должен придерживаться взятой на себя роли: если ты врач — будь врачом, если больной — то и веди себя, как положено больному. Не стану я устраивать себе протекцию у себя самой же. Тихо-спокойно дождусь утра понедельника.

После обеда я отправилась в кино, а потом ухитрилась целый час проторчать в кондитерской; вечер я провела в семье доктора Шрея и вместе с детишками от начала до конца смотрела телевизионную программу. До полуночи мне удалось занять себя чтением, а затем — с помощью снотворного — я уснула. Наутро, еще не проснувшись окончательно, я на мгновение поддалась было слабости. Мне подумалось, что не так уж велика статистическая вероятность того, чтобы опухоль у двадцатичетырехлетнего человека непременно оказалась злокачественной. В наказание за собственную слабость — только не смейтесь надо мной! — я не пошла пить кофе в буфет, а выхлебала причитающуюся мне казенную бурду.

При таком душевном состоянии работа бывает как нельзя кстати. Было даже досадно, что день моего дежурства оказался спокойным и в нашем терапевтическом отделении не произошло ничего чрезвычайного. Часов в десять у подъезда больницы остановился «крайслер»: товарищ Ш., направлявшийся на торжественное открытие какой-то пограничной казармы, провел с час у мамы Розы. В половине двенадцатого я начала обход.

Все шло как положено, и лишь в самой себе я подметила не-

кий сдвиг в восприятии. К примеру, больные, которых я лечила уже не одну неделю, были словно не те, что вчера или позавчера. Лишь температурные таблицы у них оставались без изменений, а вот лица, голоса, взгляды были другие. Должно быть, я все же как-то обмякла внутри, и они моментально усекли это, потому что больные — как малые дети — точно чувствуют границу допустимого панибратства. Дядюшка Сечеди решил во что бы то ни стало скормить мне чудовищно сухой пирог с черешней. Угощал он с такой назойливостью, что мне пришлось жевать этот пирог прямо тут же, стоя в изножье его постели. И двенадцать человек больных с молчаливым вниманием взирали, как я ем; такого со мной еще не случалось. Я — врач, а не исповедник и всегда старалась в своих отношениях с пациентами придерживаться существа дела или, во всяком случае, не слишком отклоняться от него. Однако сегодня старый трепач Холлендер играючи попрам мой с грехом пополам нажитый авторитет. Он во всеуслышание заявил, что у меня красивые ноги и я ему нравлюсь. Что на моем месте он носил бы волосы распущенными, а не закалывал бы их в пучок. И что, если бы ему удалось развестись с женой, а также если бы я вернула ему былую мужскую силу, он готов был бы вступить со мной в законный брак. Я уже перешла в соседнюю палату, когда спохватилась, что на лице у меня до сих пор сияет улыбка. Чтобы сохранить хотя бы жалкие остатки своего докторского авторитета, я подсократила обход.

До шести вечера ничего не произошло. А в шесть часов «скорая помощь» доставила старого крестьянина с легочной эмболией. Я осмотрела больного; подыскивать ему койку уже не имело смысла, и я распорядилась просто переложить его на другие носилки. Пульс едва прощупывался, и жить ему оставалось считанные минуты.

Я присела возле носилок. Время от времени он приходил в сознание и тогда просил:

— Помогите мне, барышня.

И ждал, не сводя с меня глаз. Но сделать уже ничего было нельзя. Взгляд больного постепенно угасал. А затем опять начались удушье, хрипы, конвульсии. Я распорядилась вызвать док-

тора Шрея, но к тому времени, как он примчался, запыхавшись и с крупными каплями пота на лысой макушке, больной безжизненно раскинул в стороны руки-ноги и затих. Доктор Шрей осмотрел его, пожал плечами и ушел домой.

А потом опять раздался этот булькающий хрип. Крестьянин был поджарый, но рослый; ноги его свисали с носилок. Он никак не мог умереть. Вместо дыхания из груди его вырывался свистящий хрип, а пульса, по сути говоря, уже не было. Он еще раз открыл глаза, но больше так и не приходил в себя. Сознание его уже было мертво, лишь тело продолжало борьбу. Зачем я сидела возле него? Не знаю. Помочь ему я ничем не могла, и присутствие мое было излишним. В высшей степени неразумно было сидеть там, за ширмой, и сложа руки ждать. Чего я ждала, на что надеялась? Меня вызвали в отделение, и все же я осталась с ним. Нащупала пульс. Бьется. Перестал. Опять забился. Мне казалось, что ему остается всего несколько минут, а он прожил еще час с четвертью. В нем была какая-то сверхчеловеческая сила. Каждая клеточка его существа была проникнута железной волей и какой-то неистребимой жадой жизни. А я сидела там, как жалкая пылинка, как неодушевленный предмет — ничто и никто.

Наконец вместе с последним, ужасным, исполненным какого-то возмущения хрипом жизнь ушла из него. Я просидела рядом еще десять минут, затем поднялась. И без конца оборачивалась назад: а вдруг да он опять попытается ожить? Но он уже побелел как стена. Я знала, что предпринять ничего было нельзя.

Доктор Шрей — свидетель, он тоже осмотрел умирающего. И все же я чувствовала себя виноватой. Я понимала, что это — чушь несусветная, и все же у меня было ощущение, будто каким-то опосредованным образом я являюсь убийцей этого человека.

Старшая сестра Белла второй раз пришла за мной: Холлендер, с его склонностью к истерии, жаловался на колики.

— Мне некогда, — сказала я. — Дайте ему, что хотите, лишь бы он замолчал.

Я поднялась к маме Розе.

В палате застала ее одну. Ее сопалатница, пожилая оперная

певица, вкупе со своей язвой двенадцатиперстной кишки и посетителями-родственниками удалилась в конец коридора и, спрятавшись за приотворенной дверью в уборную, уписывала за обе щеки холодный куриный паприкаш.

— Я хочу вам кое-что сказать, мама Р о з а , — начала я.

— Сперва я, — перебила она м е н я . — Сюда заезжал мой сын.

— Да, я видела его машину.

— Так я замолвила словечко, — сказала мама Р о з а . — Дело улажено.

Оказалось, что мама Роза еще не успела вмешаться, как товарищ Ш. по собственной инициативе поговорил с министром здравоохранения, который уже и сам решил было вернуть Сонтага — поскольку за ним тяжких провинностей не водилось — обратно в столицу. Правда, не на прежнее место, а в больницу Яноша.

— В больницу святого Яноша? — переспросила я.

— Да. А разве господин профессор этому не обрадуется?

— Еще как обрадуется! — сказала я.

— Ну и л а д н о , — кивнула мама Р о з а . — А вы что хотели мне сказать, милочка?

Тут мне вспомнилось, что больного положено щадить. Но если слабое сердце, подумала я, способно выносить притворство и равнодушие, приспособленчество и корыстолюбие, то отчего бы ему не выдержать правду?

— Милая мама Р о з а , — сказала я, — из вас тут делают ду-рочку.

Она села в постели и уставилась на меня.

— И вы сами позволяете э т о , — добавила я.

Худые лица гораздо лучше умеют хранить тайну, чем лица полные. Так и с мамой Розой: несмотря на толстый слой жировых подушек, по ее лицу я с абсолютной точностью могла прочесть все, что творилось у нее в душе. Она уставилась в темноту окна, то бишь в никуда. Но из этой темноты, из этого «ниоткуда», словно под действием проявителя, возник групповой портрет «великой пятерки». Кроме Сонтага там были и Виллибальд, и Бокша, который завораживал больных светской легкостью своих манер, и Петц, и Лорант, достигавшие той же

цели: один — с помощью солдатской грубости, другой — благодаря маске великого Пастера. Мама Роза какое-то время любовалась этим групповым снимком, а затем взгляд ее вернулся из ниоткуда.

— И эта катетеризация, — спросила она каким-то неожиданным тонким голоском, — вообще ничего не дает?

— Это очень важное обследование, — пояснила я. — Но вашего состояния это не изменит.

— Понятно, — сказала мама Роза.

Выражение почтительного подобострастия, как плохо приставшая эмаль, вмиг слетело с нее. Она смотрела на меня, и у нее был взгляд покупательницы, которую уже не раз обсчитывали в бакалейной лавке, и теперь она не знает, чего ждать от этого нового продавца.

— А вы, доктор, что посоветуете? — спросила она.

За весь день это была единственная светлая минута: я перестала быть «милочкой». Мама Роза произвела меня в доктора.

Я посоветовала ей выписаться из больницы. Дома отдыхать побольше. Избегать волнений. Принимать дигиталис и постараться протянуть как можно дольше.

И тут мама Роза тяжело запыхтела.

Нет-нет, не пугайтесь! Это отнюдь не было предвестником сердечного приступа, просто мама Роза прикусила губу и пыталась дышать носом.

— А, чтоб им пусто было! — неожиданно закипая гневом, воскликнула она.

И встала с постели. Пыхтя, прошла по комнате. Меня охватил ужас. Она шагала поступью боевого коня, но целью ее оказался шкаф. Мама Роза отворила его, вытащила оттуда белье и платье и оделась. Я попыталась помочь ей, но она оттолкнула меня.

— Что вы собираетесь делать? — спросила я.

— На обратном пути сын еще раз заглянет сюда, — сказала она. — Вот и отправлюсь восвояси.

Она кончила одеваться и присела в кресло. Взгляд ее снова уперся в окно.

— Выходит, господин профессор — врач неважнецкий? — спросила она.

— Напротив, он врач лучше некуда, — сказала я.

— Значит, как человек, непорядочный? — спросила она.

— Все это не так просто, мама Роза, — сказала я.

— Ладно, я ведь тоже разбираюсь, что к чему, — сказала мама Роза. — Наверно, я зря хлопотала за него перед сыном?

— Наоборот, вы сделали очень доброе дело, — заверила ее я.

Она опять встала и принялась укладывать в чемодан свои вещи. На сей раз дозволила мне помочь ей. Две банки компота, стоявшие между оконными рамами, торжественно вручила мне. И снова села, уставясь в окно. В палате слышно было только ее пыхтение.

— Одному я рада, — чуть погодя воинственным тоном заговорила она.

— Чему же вы рады?

— Что о вас я тоже успела рассказать сыну.

— Обо мне? Но что именно?

— Правду, — отрезала она с видом, не терпящим возражений. — Что ты, детка, тут самый порядочный человек из всех.

Ну вот, я уже и в «детки» попала, и удостоилась обращения на «ты». Поверьте, я была отвратительна себе в ту минуту.

— И видишь, до чего я права оказалась, — продолжала она. — Ведь я как раз и говорила сыну, что...

— Прошу вас, мама Роза, — насилу произнесла я, потому что голос у меня прерывался. — Пожалуйста, не надо меня хвалить.

— Говорить правду — не значит хвалить, детка моя.

— А что, если я вовсе того не заслуживаю?

Мама Роза многозначительно прищурилась.

— Зато мой сын считает по-другому. Он сказал, что на обратном пути хотел бы познакомиться с тобой. Надеюсь, ты рада, детка.

Я встала.

— Мне надо идти, — сказала я. — Дядюшке Холлендеру плохо.

И я сбежала.

У истеричного Холлендера всегда было множество жалоб на самочувствие, однако в больницу он лег лишь затем, чтобы иметь возможность целыми днями рассказывать там о своих болезнях. Сегодня на очереди были неполадки с мочевым пузырем. Сидя у его койки, можно было обозревать весь коридор. И вот я увидела вдруг, что там вокруг чемодана мамы Розы выстроились трое: товарищ Ш., старшая сестра Белла и мама Роза. Вся троица смотрела на меня, и разговор шел явно обо мне. Затем старшая сестра направилась в мою сторону.

По счастью, в палате было два выхода. Я не дала Холлендеру закончить фразу, прошмыгнула в задний коридор, а оттуда — во вторую женскую палату. Старшая сестра Белла, не заметив меня, поспешно прошла мимо. Я чуть подождала и выбралась из палаты, но к тому времени старшая сестра успела пройти коридор до конца, повернула обратно и увидела меня.

— Доктор! — крикнула она.

Я сделала вид, будто не слышу; из-за посетителей шума вокруг хватало. Свернув в проход между коридорами, я попала в тот, который тянулся вдоль заднего фасада, и прибавила шагу, потому что старшая сестра тоже преследовала меня весьма проворно. По узкой лесенке в конце коридора я взлетела на второй этаж, снова обогнула все здание, а затем по главной лестнице спустилась опять на первый этаж и направилась к своей комнате. По коридору я почти бежала и тут впопыхах налетела прямо на товарища Ш.

Он был совсем не такой, как на телеэкране: во-первых, меньше ростом, а во-вторых — совершенно седой. У него на лице тоже виднелось несколько родинок, но совсем маленьких, словно они были детьми кустистых украшений мамы Розы. И те же, что у нее, голубые глаза, и та же улыбка, от которой в уголках глаз и рта собирались морщинки, точно их нитками тянули книзу.

— Доктор Орбан, если не ошибаюсь? — спросил он.

— Да, это я, — с трудом переводя дыхание, ответила я.

— Я слышал о вас много хорошего, — сказал он.

И тут, как назло, я разревелась. Повернулась к нему спиной и с ревом бросилась бежать. Платка при себе у меня не оказа-

лось, я размазывала слезы по лицу, и все это — на глазах у больных и посетителей, которые пялились мне вслед, на виду у санитаров, которые выносили тело старого крестьянина, и у старшей сестры Беллы, с которой мы столкнулись на лестнице, и у той уборщицы, которая вчера в полдень мыла окна в ларингологическом отделении. Все они, выкатив глаза от удивления, таращились мне вслед, а я с ревом пронеслась через весь коридор, взлетела по лестнице, захлопнула за собой дверь и повалилась на стол в кабинете Руди.

Через какое-то время раздался стук в дверь. Я подумала, что это товарищ Ш., и не ответила. Но дверь отворилась, и в комнате вспыхнул свет.

Это был не товарищ Ш. Вошла уборщица, которая мыла окна в ларингологическом отделении.

— Что случилось, доктор? — спросила она.

— Ничего не случилось! — сказала я.

Но мои слова прозвучали не слишком-то убедительно, поскольку сидела я впотьмах и с зареванной физиономией — на стеклянном покрытии стола собралась целая лужица.

— У меня ведь ко всем замкам есть ключи, — пояснила уборщица. — Вот ваш анализ, — сказала она и вручила мне желтый конверт.

Я встала. Вскрыла конверт. Прочла написанное. О, сладостная жизнь, сладчайшая из сладких! Да может ли быть что-нибудь сладостнее тебя!

— Что там написано? — спросила уборщица.

— Ничего не обнаружено, — сказала я.

— Можно взглянуть? — поинтересовалась она.

— Разве вы в этом разбираетесь? — спросила я.

— Это я-то? — спросила она.

Она прочла результат анализа. Сказала, что поздравляет меня. Затем оглянулась по сторонам и придвинулась ко мне поближе.

— У меня на всякий случай припасена сливовая палинка, — шепнула она. — Ежели человек страху натерпелся, то бесприменно помогает... Принести?

— Спасибо, — сказала я. — Сейчас не хочется.

— А чуть погодя?

— Потом, может, и захочется.

— Я ведь тут живу, при больнице, — шепотом продолжала она. — От раздаточной аккурат направо.

— Еще раз благодарю, — сказала я.

— Как только надумаете, так в дверь и стукните, — сказала она.

— Спасибо вам за доброту, — сказала я.

Она махнула рукой и на цыпочках удалилась.

Какое-то время я сидела у письменного стола и ни о чем не думала. Затем прошла к себе в комнату. Сварила кофе. Затем сходила в душ и с головы до пят переделалась во все чистое. После этого я вернулась в кабинет Руди и выкурила американскую сигарету. Я попыталась читать, но понимала текст только наполовину, будто каждое второе слово было лишено смысла. Битый час я проторчала над книгой, а затем неожиданно вдруг придвинула к себе телефон и по междугородной вызвала общежитие музыкантов имени Ференца Эркеля. Все время, пока я мучила себя чтением, я чувствовала, что мне необходимо еще что-то сделать, вот только я не знала, что именно.

В трубке долго никто не отзывался. Наконец подошел кто-то, очевидно комендант общежития. Начал разговор он очень сердито, но после первой моей фразы: «Говорит доктор Илдико Орбан из витайошской районной больницы», сразу же подобрел. Когда среди ночи раздаются звонки из больницы, тут настолько папахивает смертью, что даже и разоспавшемуся человеку становится не до сна.

Комендант отправился за Никосом, но в комнате его не обнаружил. Я поинтересовалась, где он может быть; собеседник ответил, что понятия не имеет. По счастью, у Руди был будапештский телефонный справочник.

Я позвонила в бар «Ривьера». Там Никоса не было. В «Табан». Там его тоже не было. И в «Алабаме» тоже. Все эти разговоры проходили отнюдь не гладко: мне приходилось выдерживать упорные бои, прежде чем удавалось втолковать его имя. «Менелай Никос Евангелидес» звучит чрезвычайно кра-

сиво, но для швейцара или гардеробщика, да еще по телефону — не слишком-то вразумительно.

Я прозвонила половину месячной зарплаты, когда наконец в одном ночном заведении у меня переспросили:

— Это такой чернявый, что ли?

О Никосе точнее и не скажешь. У него все черное: волосы, глаза и густо разросшиеся брови. Голос его звучит, как гонг в темной глубине. И в объятиях его у меня делалось черно перед глазами, словно сверху опускался бархатный траурный балдахин.

— Ах ты моя шладкая-шладкая, — сказал он.

Должно быть, он изрядно выпил. Он почти безукоризненно говорил на нашем языке, но стоило ему выпить, и он путал звуки «с» и «ш».

— Мы ждем т е б я , — надрывался он в трубку.

— Не кричи, — сказала я. — Ты забыл, что у меня дежурство?

— Все равно могла бы приехать, — кричал он . — Я опять остался один.

— Тебе всегда кто-нибудь да подвернется.

— Никого, кроме тебя! — надсаживался он.

— Не о р и , — сказала я. — Обманщик ты и больше никто.

— Хочешь, поклянусь?

— Лучше приезжай ко м н е , — сказала я.

— Когда? — спросил он.

— Утренним скорым.

— Там так красиво? — спросил он.

— Н е т , — сказала я, — тут ничуть не красиво.

— Тогда лучше ты приезжай в П е ш т , — сказал он.

— Н е м о г у , — сказала я.

— Ты говорила, что добьешься перевода.

— Я это говорила?

— И что тебе всегда все удается.

— И это я говорила?

— Так когда же ты приедешь?

— Когда у меня перестанет болеть горло.

— В эту субботу? — заорал он . — Или в следующую?

— Не о р и , — сказала я . — Не знаю .

— Ж а л ь , — сказал о н . — У тебя были такие красивые ноги .

— Значит, не приедешь? — спросила я .

— И волосы у тебя были красивые , — сказал о н . — Очень красивые .

— Привет, Ник о с , — сказала я .

— И ты была моя сладостная .

— Ты тоже .

— А ты — сладостная-пресладостная .

— Ты тоже сладостный-пресладостный , — сказала я . —
Привет, Никос .

— Привет , — сказал о н . — Сладостно-сладостно-пресладостная .

Ну вот, и с этим делом покончено. Я положила трубку. Пока я добрела до своей комнаты и улеглась в постель, окна стали чуть заметно светлеть, и с негромким шумом начала пробуждаться больница.

«Сибирская куница»

Капитан разложил на столе бумаги, но Михай Прохоцки, некогда изысканнейший скорняк с улицы Ваца, бывший придворный поставщик Франца-Иосифа и принцессы Августы, даже в этот решающий момент сумел сохранить самообладание. На его гладко бритой продолговатой голове, кожа которой совершенно уподобилась стеклянной пленке, будто черепную кость покрыли какой-то блестящей глазурью, невозможно было обнаружить ни капельки пота — ни малейшего признака волнения. Лицо его, сплошь, как дробью, испещренное пятнышками краски, с седыми, стриженными на английский манер усами и сейчас озаряла та любезнейшая улыбка, которую он в течение сорока пяти лет завоевывал расположение покупателей. Та же самая улыбка — в точности с той же готовностью услужить и разве что с меньшей дозой сладости — повторялась на лице господина Примуса, главного закройщика, и кроткой барышни Эльвиры, кассирши и манекенщицы. Эта улыбка уверенного в себе человека была неотторжима от общеизвестного девиза «Сибирской куницы»; выгравированный на стекле, он когда-то висел в салоне над кассовым аппаратом фирмы «Националь»:

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ,
СКАЖИТЕ ОБ ЭТОМ МНЕ!
ЕСЛИ ВЫ МНОЮ ДОВОЛЬНЫ,
СКАЖИТЕ ОБ ЭТОМ СВОИМ ЗНАКОМЫМ!

И поныне неиссякающим источником душевного покоя Михаю Прохоцки служило сознание, что его шубы, меховые подбойки, муфты, вечерние накидки и прочие изделия из ме-

хов лучших лейпцигских, Санкт-Петербургских и квебекских оптовых торговцев верно служили покупателям до гробовой доски. (Разумеется, лишь в случае бережного обращения и предохранения от моли.) Ни при жизни его отца, ни за те сорок пять лет, что Михай Прохоцки вел дело, у фирмы не было по существу ни одной рекламации.

Но сейчас эта спокойная улыбка была лишь видимостью. Внутри же он весь оцепенел от волнения, пока капитан перебирал на столе бумаги, ища нужную.

Эта процедура не заняла и минуты, но старику, не решавшемуся перевести дыхание, она показалась бесконечной. Отыскав, наконец, анкету, всю исчерканную красным карандашом, капитан вскинул взгляд на старика и сказал:

— Вам дано разрешение на выезд.

Михай Прохоцки глубоко вздохнул. Пять лет назад они впервые обратились за разрешением и с тех пор каждый год возобновляли свое ходатайство; старики даже делали попытку нелегально перейти границу. Надежда на отъезд подерживала в них дух, и все же они не в состоянии были себе представить, что эта надежда может воплотиться в действительность. Руки-ноги у него вдруг налились тяжестью, веки задергались, кожа на лысом черепе покрылась мурашками — словно мириады живых муравьев забегали по ней.

— Вы намерены выехать в Австралию?

— Да, — кивнул Прохоцки, и на уста его прокралась прежняя учтивая улыбка. — Извольте видеть, там проживает наш сын.

— Ну и почерк у вас, ничего не разберешь, — проворчал капитан. — Почему вы не заполнили анкету на машинке?

— Люди мы старые. У нас тут никого не осталось, — ответил Прохоцки.

Сам он уже ни писать, ни читать не мог: стоило ему на какое-то время сосредоточить взгляд в одном и том же направлении, и у него начинали дергаться веки. Анкету заполняла его жена, по почерку которой до сих пор было видно, что в школе ее учили писать готическим шрифтом. Букву «г» она писала, как «V», а буква «s» выходила у нее похожей на раздавленно-

го кузнечика, вывернутые лапки которого беспомощно трепыхались между строк. Капитан склонился над бумагами, пытаясь разобрать написанное; его сросшиеся брови от мучительного усилия проделали медленное, извилистое движение, точно гусеница, пытающаяся всползти на лоб.

— Как, к примеру, девичья фамилия вашей жены?

— Корнхубер, Ирма Августина.

Капитан самопишущей ручкой жирно поправил проставленное там имя.

— Пойдем дальше. Проживающий в Австралии Михай Прохоцки-младший — это ваш сын, не так ли

— Совершенно верно, единственный сын.

— А тогда, — капитан ткнул пальцем в красный знак вопроса на полях, — кто такой Корнел Корнхубер, проживающий в Лондоне?

— У него меховой салон в центре Лондона, примерно как у нас на улице Вази, — пояснил Прохоцки. — Он вошел в компанию с одним английским скорняком.

— Меня интересует всего лишь, — вмешался капитан, — кем он вам доводится? Может, внебрачный сын?

— Что вы, ничего подобного! Теперь мне понятно, в чем тут загвоздка. Видите ли, это мой зять, муж моей дочери Лиллы. Брак был заключен между двоюродными родственниками, и из-за этого часто возникают недоразумения.

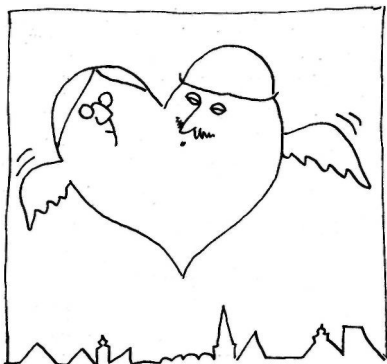
Капитан кончил вносить поправки, задал еще несколько вопросов, а затем зачитал инструкцию для отъезжающих. Квартира поступает в распоряжение районного совета. Дорожные расходы — в долларах — оплачиваются тамошними родственниками. Помимо того, что на них надето, и еще одной смены одежды они могут взять с собой белья и платья общей стоимостью пять тысяч форинтов на человека, а также золотые часы или ювелирные изделия на сумму две тысячи форинтов. Картины, представляющие художественную ценность, благородные меха и драгоценные камни вывозить не разрешается.

— Вот ваш паспорт, пожалуйста, — в заключение сказал он.

Прохоцки встал. Взял паспорт. Протянуть капитану руку он не решился. Однако в дверях поклонился и сказал:

— Ваш покорный слуга.

Постоянные клиенты «Сибирской куницы», знаменитые актрисы и светские красавицы, должно быть, хранят где-то в глубинах памяти этот галантный поклон. Прохоцки придавал большое значение тому, с каким настроением покинет клиент его заведение.



Дома он с осторожностью, чуть ли не по капле цедя, сообщил о свершившемся событии, но Ирму все-таки прихватил приступ стенокардии. Долго отлеживалась она на кушетке, укутанная теплым пледом, пытаясь побороть одышку. Прохоцки положил ее ноги к себе на колени и, расшнуровав ботинки, принялся с профессиональной ловкостью массировать отекавшие лодыжки — все время кверху, по направлению к сердцу... Когда дыхание Ирмы стало легче и сердцебиение утихло, они еще с час безмолвно просидели на кушетке, укрыв ноги пледом.

Им не было нужды в словах. Они настолько знали друг друга, что происходящие с ними события приводили им на память одни и те же слова, в забывчивости же своей они забывали об одном и том же, подобно тому как короткое замыкание гасит свет сразу в нескольких помещениях. Вот и сейчас они

одновременно сбросили с себя плед. Глубоко вздохнули — оба сразу. Затем женщина приподнялась на локтях и попросила подать ей обувь. Пока муж зашнуровывал ей высокие ботинки на суконной подкладке, она медленно обвела взглядом комнату.

— Интересно, — вздохнула она, — что докторша скажет.

Это замечание прозвучало несколько странно. Естественнее было бы первым делом подумать о родных детях, а не о жиличке, которая в конечном счете им чужая. Однако старика это не удивило: мысли его, как нитка за иглой, следовали за ходом мысли супруги.

Он кивнул и сказал всего лишь:

— Бедняжка.

И снова наступила пауза, как раз достаточная для того, чтобы мысли человека успели обежать по кругу.

— Как только нас здесь не будет, — продолжила жена, — этот доктор Браниско пролезет сюда.

— И я тоже об этом подумал, — согласно кивнул Прохоцкий. — По-моему, докторша его простит.

Мужа жилички, с которым она жила врозь, на самом деле звали не доктор Браниско, а Казмир Андришка. У стариков Прохоцки это было общей слабостью: будучи не в силах запомнить новые фамилии, они подставляли взамен какое-нибудь другое, более привычное слово. Если, к примеру, их знакомили с человеком по фамилии Кирай *, то по возвращении домой один из них ронял замечание: «Этот Владислав производит впечатление весьма утонченного господина», и другой тотчас понимал, о ком идет речь, а новое прозвище раз и навсегда оставалось за человеком. Например, Желтова, продавца из угловой бакалейной лавки, Ирма окрестила «Лимончиком», и эту кличку перенял от нее не только муж, но и все жители квартала.

— Ну, а теперь надо отправить телеграмму, — сказала Ирма.

— Я как раз хотел сказать, — кивнул Прохоцкий. — Ты поле-

* Король (венг.).

жи еще чуточку, а потом сходим на главный почтамт.

Он очень медленно усваивал какую бы то ни было перемену, а Ирма обладала как раз противоположным характером. События подталкивали ее к действию; вот и сейчас она не в силах была усидеть без дела: поспешно оделась, пришила к седым волосам подкладной пучок, при этом составляя вслух текст телеграммы для дочери.

— Почта никуда от нас не убежит, — пытался сдержать ее рвение муж. — Приведи прическу в порядок, а потом вместе напишем.

Жена и внимания не обратила на его слова. Чуть шепелявя — так как шпильки она держала наготове, зажатými в розовых, по-девичьи мягких губах, — она продиктовала мужу текст телеграммы. И Прохоцки опять понапрасну пытался воспротивиться: на почту пришлось отправляться немедленно, Ирма ни на миг не давала передышки им обоим. Она гнала дела перед собою, как свору собак; в ее грузном теле жила подвижность ласточки.

По пути она на минуту остановилась у ручного ткацкого станка, с которого свешивался на пол шарф в шотландскую клетку. Взглянув на недоконченную работу, она с вырвавшимся из глубины вздохом простилась с нескончаемыми вечерами, когда они с мужем общими усилиями ткали цветные шарфы. В течение нескольких лет они существовали лишь на те скудные средства, что кооперация платила за шарфы и докторша вносила за комнату; присылаемые из-за границы посылки лишь изредка облегчали их участь.

Ирма положила шарф на столик. По ее белокожему — сердечком — лицу типичной бабушки, обычно бархатистому и матовому, как яичная скорлупа, разлился румянец. Зарделись и обе висячие родинки — у основания носа одна и на пухлом, с ямочкой, подбородке — другая. Склонившись на плечо мужа, она прошептала:

— Все-таки господь сподобил, Михай...

Это были их последние спокойные минуты. Начиная с этого момента им больше некогда было радоваться предстоящему отъезду. Шел спешный обмен телеграммами. Супругам при-

шлось составить дорожный план, что оказалось не так-то просто, потому что дети и прочие родственники — все предъявляли на них права: им хотелось повидать главу семьи, похвастаться своим жильем, детьми, коммерческими успехами. Но разработать такой маршрут, чтобы посетить всех, было невозможно, если только не совершить кругосветный круиз... Ветром судьбы семью раскидало по всему миру так, что на каждую часть света пришлось по родственнику.

Миши, их единственный сын, обосновался в Сиднее. Из дочерей, славящихся своей красотой, Лилла с мужем жила в Лондоне, а Вера нашла свое счастье в Канаде. Один из племянников — архитектор Шандор Прохоцки — подвизался в Алжире, а плотоядная Гиза Корнхубер, в пятый раз выйдя замуж, поселилась на ранчо близ Мар дель Плата. И вот теперь, когда родители готовились в дорогу, семья, попирая расстояния, словно бы пыталась воссоединиться вновь. «Постарайтесь достать билеты на английское судно, потому что оно наверняка причалит в Портсмуте». Или: «Не понимаю, почему нужно делать крюк ради Вериних красивых глаз, ведь Вера с мужем еще в прошлом году собирались наведаться в Европу». Родители первое время отвечали на подобные письма-телеграммы, а потом Ирма села и в подробном письме Лилле точно подсчитала, во что обойдутся пароходные и железнодорожные билеты и сколько долларов потребуется на прочие дорожные расходы. «Это очень большая сумма, доченька, вы уж постарайтесь распределить ее между собой по справедливости. Что же до наших планов, то мы сядем на пароход в Гамбурге; это кратчайший путь, а мы — люди старые». Материнское письмо вызвало новую лавину корреспонденции, которая теперь уже осталась без ответа. Супруги Прохоцки занялись оформлением документов.

Потребовалась масса справок, разрешений, подтверждений, налоговый лист, медицинское заключение и выписки из метрических книг. Официальным инстанциям не было конца; едва кончали обивать пороги в одном месте, как в другом надо было начинать все снова. Тихая, безмятежная жизнь стариков превратилась в сплошную беготню. Защитная оболочка, благо-

приобретенная за долгие годы покойного сосуществования, вдруг треснула, а сквозь трещины проглянула разница в температурах.

Ирма стремилась сделать все сразу. Как-то утром, к примеру, она встала с тем, что сейчас они отправятся делать прививки, а потом занесут паспорта в английское посольство. Прохоцки, однако же, остался спокойно сидеть в кресле.

— Посол никуда не денется, Ирма. Сперва надо бы узнать, к какому участковому врачу мы относимся.

— Это и привратник может сказать.

— Я уж и сам об этом думал. Узнаю у привратника.

— Ну тогда пошли делать прививки.

— Участковый врач тоже никуда от нас не сбежит, — с раздражающим спокойствием отвечивал Прохоцки. — Сегодня уладим дело с привратником, завтра сделаем прививки, а посольство оставим на послезавтра.

— Это только тебе так кажется, мой Михай! — воскликнула жена и напялила шляпку, словно давая понять, что она немедленно идет в посольство, как бы вредно это ни отразилось на ее сердце. Она выскочила в прихожую, громко хлопнув дверью.

Прохоцки закурил обычную после завтрака сигарету, и уходящий к потолку дым бледно-голубыми буквами выписывал что-то в воздухе, верно передавая дрожь его руки. Минуту спустя буквы эти сделались совершенно неразборчивы, потому что дверь из прихожей распахнулась и Ирма прокричала оттуда:

— Сколько бы ты ни мудрил, мы все равно уедем, так и знай!

Осенью сравнялось сорок лет их совместной жизни. Друг друга они называли «моя Ирма», «мой Михай», да и перед другими говорили так: «Михай мой принес», «моя Ирма испекла»... Супруги любили или не любили одни и те же кушанья. Попробовав суп, они или оба тянулись за солонкой, либо соли не добавлял ни один из них. Они умели читать взгляды друг друга. Никакие пререкания не в силах были нарушить эту связь, которая гнездилась уже вне сферы чувств. Размолвки,

ссоры и сопутствующие им обиды были немыслимы в этом нравственном климате. Даже самое резкое расхождение во мнениях не заходило дальше удивления. «Странная ты какая, моя Ирма» — на их языке означало примерно то же, что для молодых супругов разъехаться по разным квартирам. Но теперь удивление стало постоянным гостем у стариков Прохоцки, в особенности после первого визита доктора Браниско, то бишь Казмира Андришки.

Старику и прежде было не по душе, что жена намеревается «разбазарить» всю обстановку. Казалось бы, женщины должны быть более привязаны к вещам, ан нет! — Ирма находила истинное удовольствие в этой тотальной распродаже и с такой же легкостью расставалась с проданными вещами, как с выдыхаемым воздухом. Правда, пока что ни с чем не пришлось распрощаться, поскольку Прохоцки настоял на том, чтобы до дня отъезда из квартиры не было вынесено ни одной вещи. Но тяжкие муки ему причиняло уже то, что чужие люди разглядывают картины, переворачивают ковры наизнанку, включают и выключают люстру; в такие моменты Прохоцки выходил из комнаты, а если дело доходило до торга, он вообще удалялся из дому. И в тот день, когда очередной покупатель, чуть ли не пригнувшись, со всех сторон обошел их белоснежную фарфоровую печь, способную украсить любую девичью комнату, он сказал жене:

— Не дело это — так разбрасываться имуществом.

— Станный ты какой, мой Михай! Что же нам остается делать?

— Надо найти человека, который купит все сразу.

— Где же найти такого человека? — удивленно воззрилась на него жена.

— Этого я и сам не знаю, — признался Прохоцки.

Так что предложение доктора Браниско пришлось как нельзя кстати.

В тот раз они увидели его впервые. Их жиличка — Пирошка Чика, врач-терапевт — всего лишь три года прожила с мужем в тесной и неудобной квартире. Жизнь ее сложилась

очень неудачно. Вынужденная сносить постоянное общество свекрови, которую сын поддерживал буквально во всем, молодая докторша какое-то время терпела этот двойной гнет, а затем бросила своего Андришку вместе с его мамашей и квартирой и сняла у стариков Прохоцки меньшую комнату с отдельным входом — правда, через ванную. Едва она успела к ним въехать, как хозяев выселили из столицы в деревню, в Затисский край.

Полтора года, пока они не вернулись домой, докторша стерегла их вещи, и с тех пор они относились к ней как к приемной дочери, а не как к жиличке. Об Андришке никогда не заходило речи, докторша даже имени его не упоминала, и старики, пожалуй, именно по ее упорному молчанию догадались, что эта милая и красивая женщина все еще любит мужа. Они по-своему старались сохранить ее тайну; даже между собой не говорили о докторшином муже, но каждый из них знал, что оба они боятся за Пирошку. Так было до тех пор, пока Андришка не объявился самолично.

Когда прошел слух о выезде четы Прохоцки, доктор прислал жене цветы, затем пригласил ее в кино, в театр, водил ужинать в изысканные рестораны. Молодая женщина становилась все рассеянее. Возвратясь домой из больницы, она забиралась с ногами на кушетку, дымила сигаретой, и по лицу ее пробегала светлая улыбка, как отблеск зимнего солнца по замерзшему оконному стеклу. Как-то раз она постучала к старикам. «Каци шлет вам самый сердечный привет, — сказала она с робкой улыбкой. — Ему хотелось бы нанести вам визит».

Доктор Браниско начал с того, что почтительно поцеловал Ирме руку. Затем отвесил ей пару неуклюжих комплиментов, чем окончательно сразил ее наповал; даже обе родинки на лице у нее вспыхнули и красными сигнальными кнопками горели весь день. «Изумительно!» — повторял доктор, разгуливая по квартире. Все ему нравилось.

— Это, и это, и вот это, — говорил он, указывая на мебель. — А вон та лампа, смею заверить, — свидетельство абсолютного вкуса.

Ирма блаженно выслушивала его похвалы, Прохоцки же устранился от этих разговоров, а докторша молча сидела в углу, играла прядями своих длинных, красиво вьющихся темно-каштановых волос, попыхивала сигаретой, будто не понимала, о чем речь. Однако в ее темных лучистых глазах слабым огоньком вспыхивал стыд, когда муж чересчур беззастенчиво расхваливал какой-нибудь предмет обстановки.

— Какой великолепный столик! Это же настоящее барокко! Я бы купил его, если Пирошка не против, можно было бы поставить у кровати.

Докторша промолчала, из чего старики сделали вывод, что супруги помирились и собираются после их отъезда поселиться здесь вместе.

В результате обхода доктор изъявил готовность приобрести обстановку всю целиком и даже вытащил бумажник, чтобы внести задаток. Прохоцки почувствовал, что у него так и просится на язык язвительное замечание. «Глубокоуважаемый господин доктор, — хотел он сказать, — я ведь не торгаш, которому принято выплачивать аванс!» Но Ирма, чутко улавливавшая в муже любое бунтарское поползновение, поспешила вмешаться, прежде чем Прохоцки успел раскрыть рот.

— Я думаю, мы сойдемся, дорогой господин доктор, — расплывшись в улыбке, сказала она. — А пока что столько дел надо уладить, что я вообще не знаю, уедем ли мы когда-нибудь. По разным учреждениям еще ходить и ходить...

— Почему же вы раньше-то не сказали? — всплеснул руками доктор Браниско. — Или хоть бы через Пирошку передали! Я целиком и полностью в вашем распоряжении и счастлив буду помочь вам своими знакомствами.

Этим доктор окончательно свел Ирму с ума. Она прошла с ним в комнату Пирошки, где за разговором выяснилось, что и в совете, и в налоговом управлении или в любом другом нужном месте у доктора есть либо добрый знакомый, либо бывший пациент, которому он когда-то делал операцию; часть забот-хлопот он тотчас и переложил на свои плечи. Они с Ирмой пошептались еще с полчаса, а затем молодая пара откланялась: им пора было отправляться в театр.

Однако в квартире и после их ухода слышались отголоски энергичной расторопности Андришки и его повелительного тона.

Старики не заговаривали между собой. Даже глаза их старались избегать друг друга, а взгляды трепетали, как зверьки, боящиеся один другого. Ужин тоже проходил без слов, хотя за их молчанием скрывался оживленный обмен мнениями, и Ирма, допив последний глоток чая, укоризненно покачала головой:

— А теперь тебе именно это не нравится? Я не понимаю тебя, мой Михай.

Прохоцки закурил обязательную после ужина сигарету и оставил ее слова без ответа.

— Человек нам только добра желает, причем совершенно бескорыстно, а ты чуть не испепелил его взглядом! — продолжала жена.

Прохоцки молча смотрел перед собой.

— Уму непостижимо! — вздохнула Ирма. — Что же нам делать со всей этой мебелью?

— А ничего не делать, — проговорил наконец муж. — Попросим докторшу постеречь квартиру и уедем.

На докторшу можно положиться, аргументировал свою позицию Прохоцки, это уже однажды проверено. Продавать мебель не имеет смысла, ни поштучно, ни всю целиком, ведь деньги все равно нельзя взять с собою. Банковский вклад — дело ненадежное, деньги постепенно обесцениваются. А так по крайней мере, если они вернутся, все будет в целости.

— Ты собираешься вернуться? — в полном изумлении уставилась на него Ирма. — И когда же?

— Пока не знаю.

— А для чего ты хочешь вернуться?

— Над этим я еще не задумывался, — сказал Прохоцки.

— И все-таки чем ты собираешься заняться, если мы вернемся?

— И этого я не знаю, — признался Прохоцки.

— Ну что ты за человек! — всплеснула руками жена. — Ес-

ли ты рассчитываешь вернуться, зачем тогда вообще уезжать, скажи на милость!

Она зашлась кашлем и больше не смогла говорить. Пришлось поспешно уложить ее, укутать пледом и отпить успокоительными каплями... Прохоцки пристроился на краю кушетки, грея ладонями холодные руки Ирмы, и дал себе зарок отныне ни в чем не перечить ей. Этого зарока он не нарушил.

На другой день он хотел подержать Ирму в постели, но та проснулась бодрая и в хорошем настроении. Попросила шофера такси снести чемоданы вниз и отправилась в таможенное управление. Прохоцки хотел было сопроводить ее, но она решительно воспротивилась.

Укладывала вещи она тоже сама, а мужу не позволила даже заглянуть в чемоданы: взять с собой белья и одежды разрешалось только на пять тысяч форинтов, но когда такси помчалось к таможне, то в три объемистых чемодана было втиснуто барахла на сумму, по меньшей мере трижды превышающую указанную. Прохоцки — если бы он вообще пошел на такого рода махинацию — стоял бы перед таможенниками, дрожа каждой клеточкой своего существа. Ирма же перешагнула порог таможенного управления абсолютно бесстрастно, всем своим видом внушая уважение.

В процедуре принимали участие таможенный инспектор, оценщик и канцелярист. Инспектор поднимал высоко вверх каждую вещь по отдельности и тряс ее в воздухе, чтобы оценщик мог как следует рассмотреть. Ко второму чемодану еще и не приступали, а до предельной суммы было уже рукой подать.

Женщина не говорила ни слова. Ей было как бы безразлично, какими предметами туалета размахивает в воздухе таможенный инспектор и какую сумму называет оценщик. В просторном пакгаузе царила тишина, и в тишине раздавалось лишь ее тяжелое, булькающее дыхание — печальный аккомпанемент сердечной болезни. Шестнадцать раз в минуту повторялся этот удушливый хрип; в интервалах между вдохами трое мужчин, нервно зажмурившись, ждали очередного.

Через какое-то время стало очевидно, что инспектор начинает спешить. Работе его уже не доставало прежней основательности; к примеру, кальсоны Михая Прохоцки он лишь поднял, но не размахивал ими столь энергично, как другими вещами. Еще несколько хлюпающих вздохов ему удалось выдержать, но затем он вдруг досадливо крикнул и захлопнул крышку чемодана.

Когда три свинцовых пломбы заняли свои места, Ирма Прохоцки с сильной одышкой, но зато с довольным выражением лица удалилась из пакгауза. Чемоданы остались на хранении у таможенников, а она вернулась домой и с аппетитом пообедала.

Скорый поезд «Прага — Берлин — Гамбург» отходил с Восточного вокзала в девять двадцать вечера. Супруги Прохоцки взяли билеты на пятницу; вечером, накануне дня отъезда, докторша, которая частенько прибегала к снотворным, дала хозяевам несколько таблеток успокоительного. Ирма приняла лекарство, а Прохоцки не стал. Сон, правда, быстро сморил его, но в полночь он проснулся и так и не смог больше уснуть.

Была морозная, ясная, лунная ночь, такие ночи обычно бывают в феврале, суля наступление теплого, погожего дня. Голубоватый свет мягко сочился с улицы сквозь ажурную сетку штор, пробуждая от сна все, что было в комнате светлого. Белели наволочки и пододеяльники, скатерть, кружевные чехлы на спинках стульев в стиле бидермейер и белоснежная печь из майолики в углу комнаты. Напольные старинные венские часы пробили четверть пополуночи, и опять всю квартиру затопила тишина.

Комната уже выстыла, и Прохоцки натянул одеяло до самого подбородка, но даже под одеялом его пробирала дрожь. «Мы будем счастливы видеть дорогих папу и маму, — писал Миши, — и постараемся обеспечить максимально хорошие условия, хотя здесь, в Австралии, культурная жизнь — скажем, театры, кафе, светское общение — отстает от той, что на родине. При других обстоятельствах нас ничуть не

удивил бы всем известный эгоизм Веры и ее мужа. Но если уж мы предоставляем кров папе и маме, то им приличествовало бы оплатить пароходные билеты, тем более что детей у них нет». Дочь Лилла старалась очернить в глазах родителей сладострастную Гизу, которая в данный момент взяла на свое содержание какого-то португальца-официанта, его мамашу и троих детей и при этом не постыдилась внести в фонд родительских дорожных расходов всего лишь двадцать долларов. Да еще приписала, что если, мол, этого мало, то она готова «последнего куска лишиться», другими словами, опять пытается мученицей прикинуться... А обитающий в Алжире Шандор Прохоцки не преминул упомянуть, что Лилла и Вера сами «в роскоши купаются», зато по поводу родительских нужд переписываются уже не одну неделю и теперь пришли к решению, что старикам сойдет пароходный билет и третьего класса. «Для нас нет большего желания, чем обеспечить им счастливую старость, но после того как они наконец-то выкарабкаются из тамошней нищеты, им даже третий класс покажется райским блаженством».

Кожа на лысой голове зудела так, будто с потолка сыпались комочки сажи. Тиканье часов в тишине слышалось громче, и старика охватила такая тревога, что он зажег лампу. Тиканье вроде бы притихло. Ирма спала ровным, спокойным сном. Прохоцки долго не сводил глаз с ее кроткого — сердечком — лица, на котором, казалось, даже родинки отдыхали. В нем боролись противоречивые чувства: недовольство и жалость, укор и прощение и многие другие невыразимо двойственные чувства. Вся беда в том, думал он, что она вечно спешит. Не задумывается над тем, что делает, настолько сильно в ней желание действовать. Без оглядки доверяется людям, как сейчас этому загребущему доктору, а в прошлый раз — летчику с бородкой под Христа. Ведь и тогда точно так же, впопыхах, ничего не взвесив, не обдумав, пустились они к австрийской границе.

Лилла в одном из писем предупредила их, что к ним зайдет демобилизованный летчик-офицер, ее давнишний поклонник,

который уже многим помог переправиться через границу. И на третий день появился Дики, с его мягкой белокурой бородкой и такой ослепительной улыбкой, точно зубов у него было вдвое больше, чем у всех нормальных людей. «Господи, да я вас на руках через границу перенесу, — разливался он. — Уж вы Лиллочке будете благодарны!... Как только в лондонском аэропорту приземлитесь, так и скажете ей, что, как две белые хризантемы, шлю ей папу и маму и целую ручки...» Этого оказалось достаточно, чтобы вмиг обворовать Ирму. События закрутились так, что у них и времени не оставалось прикинуть да поразмыслить: на другой день, еще затемно, у дома остановился военный грузовик, они наспех, кое-как собрались, сбежали по лестнице и — в путь! А в полночь, когда они в потемках с полчаса прошагали пешком от Шопрона, проводник — крестьянин в полушубке — остановился, ткнул рукой куда-то во мрак и сказал: «Там уже Австрия. Перчатки у вас есть?»

Впереди будет два ряда колючей проволоки, пояснил он, надобно проволоку приподнять малость, пролезть под ней и дуть вперед без оглядки... «Сигарет у вас не найдется?» Он забрал у них сигареты. «А часы имеются?» Часы он прихватил тоже. «Там часы дешевые — ничем... Идите, стало быть, все прямо», — сказал он на прощание, повернулся и зашлепал обратно по плотной, липнущей к ногам земле.

«Пойдем же, Михай», — подгоняла его Ирма, а он все стоял, смотрел в указанном направлении и размышлял. Значит, вон там, в темноте, уже Австрия. Надо только пролезть под заграждениями, и глядишь, на кого-нибудь и нарвешься. К счастью, Ирма хорошо говорит по-немецки... «Как по-твоему, Ирма, не обманул нас этот проходимец?» — «Уж не думаешь ли ты, будто Дики...» Прохоцки вытащил ногу из грязи, поискал, куда бы ее поставить, и опять плюхнул в вязкую грязь. «Если он даже часами не погнушался, как доверить такому человеку жизнь?.. Что он говорил, где она, эта проволока?»

Они двинулись вслепую, свернули сперва вправо, потом взяли

левее. Но всюду упирались в непроглядную темноту и вскоре, утратив ориентировку, удалились друг от друга. «Э-эй!» — перекликались они, бестолково топчась в непролазном месиве, пока поблизости не щелкнул затвор: «Стой, кто идет?»

Через две недели их выпустили из грязной камеры и разрешили вернуться домой. Они прибрали раскиданные второпях вещи и, не теряя времени, уселись за ткацкий станок. В другой раз, решили они, надо будет наперед все хорошенько обдумать. Но вот ведь, судя по всему, бывают поступки, которые несовместимы с предварительным обдумыванием.

Раздался тихий стук, и медленно отворилась дверь докторшиной комнаты. Молодая женщина в халате до пят и с незажженной сигаретой в зубах гибким движением проскользнула в дверь.

— Вам тоже не спится, дядя Михай? — шепотом спросила она.

Прохоцки учтиво приподнялся в постели и поднес ей огонька. В поведении старика можно было подметить некую перемену. Движения его, даже в этой неудобной, полулежачей позе, сделались изящнее, глаза заблестели, а кожа на лысом черепе засверкала ярче обычного.

— Как сердце чуяло, что явится ко мне сегодня ночью красавица...

Докторша не улыбнулась в ответ, лишь строго застывшие черты лица ее чуть смягчились.

— Ну, а по правде?.. Из-за отъезда волнуетесь?

— О нет, красавица моя! Путешествия для меня не внове. А вот дети из головы не выходят...

— Наверняка ждут вас с распростертыми объятиями, — решительно заявила докторша.

Прохоцки на это ничего не ответил. Некоторое время он сидел неподвижно, с натянутым на плечи одеялом, казалось весь уйдя в собственные мысли. Затем на губах его вновь мелькнула учтивая улыбка.

— Хорош из меня кавалер, ничего не скажешь! Даже не догадался поинтересоваться, что же нарушило ваш сон...

Надеюсь, не я вас потревожил, когда лампу зажег?

— Я вообще не могла уснуть, дядя Михай.

Прохоцки кокетливо прищурил глаз и, послунив указательные пальцы, пригладил свои тщательно подстриженные усы.

— Оно и не мудрено — по соседству с таким юным ухажером...

Однако тяжелый докторшин вздох пресек его дальнейшие попытки любезничать.

— Беда в том, дядя Михай, что я не могу жить без него.

— Вы имеете в виду господина доктора?

Наступило молчание. Ирма дышала глубоко и ровно, тихие вдохи ее можно было принять за едва слышные вздохания. Часы, словно только и дожидались этих пауз, опять вылезли на первый план со своим громким тиканьем; каждое очередное «тик-так» пробегало по нервам подобно слабому удару током.

— А мы уж решили было, что все у вас окончательно наладилось, — проговорил старик, чтобы прервать молчание.

— Месяц назад мы ужинали вместе. Он взял меня за руку и сказал: «Доктор Пирошка Чика, клянусь всем, что есть для меня святого, не брать с собой маму. Клянусь, что хочу начать новую жизнь и стать другим человеком. Тебе нечего бояться, дорогая Пирошка!»

— Ну вот и прекрасно, — сказал Прохоцки.

— И что бы он ни говорил, дядя Михай, я всему верю, — докторша уставилась куда-то в даль. — У меня даже ноги слабеют, стоит только мне услышать его голос. По-моему, я совершенно безвольный человек.

Прохоцки промолчал.

— Он всю мою жизнь озаряет, дядя Михай... — мечтательно сказала докторша, а потом неожиданно заговорила о свекрови. Мало того, что один раз старуха уже разбила ее счастье, так вот сегодня, когда она пришла к мужу, чтобы помочь ему уложить вещи, свекровь опять принялась шпынять ее. «Это не так делается, дорогая. Не клади туда, милая. Вазу лучше не бери, а то уронишь». И Каци во всем ей подпевает: «И верно, Пирошка, пусть лучше мама сама сделает».

Докторша встала, подошла к кровати и облокотилась о спинку.

— И вдруг я вижу, что старуха тоже укладывает свои вещи... Спрашиваю: «Куда это вы собираетесь переезжать, мама Ольга?» «А где, по-твоему, мое место, милочка?» — это она мне говорит. «Уж не к нам ли?» — спрашиваю. «Именно, золотце, куда же еще!» А Каци на это — ни слова. Ох! — вырвался у нее тихий стон. — Неужели любовь только такая и бывает, дядя Михай?

— Затрудняюсь сказать, — раздумчиво ответил старик. — По-моему, нет.

Он протянул руку и погладил докторшины длинные, спадающие на грудь волосы. Но тут Ирма, чувствуя любое движение на соседней, стоящей вплотную, кровати, мигом открыла глаза и села в постели. Докторша, как призрак, выскользнула из комнаты. Прохоцки же моментально улегся навзничь и натянул на себя одеяло.

— Что случилось? Здесь кто-то был? — спросила Ирма, не зная, отнести ли эти мимолетные шорохи на счет сна или я в и . — Не спится тебе, мой Михай?

— С чего ты взяла?

— Тогда почему у тебя лампа горит?

Прохоцки щелкнул выключателем, но так и не смог уснуть. Лежал, уставившись в темноту, пока не начало светать; тогда он тихонько встал с постели и пошел умываться. К тому времени, как Ирма проснулась, его уже не было дома.

У нее тоже осталось немало дел на последний день. Надо было упаковать ручной багаж — помимо тех вещей, которые хранились на таможне. Поэтому Ирма замыслила прихватить с собою самую лучшую и дорогую одежду, какая только у них была, и, когда докторша проснулась — она в этот день отпросилась с работы, — они вместе принялись отбирать и укладывать вещи.

Тем временем Михай Прохоцки, покончив с последними официальными делами, отправился покупать себе меховую подстежку к зимнему пальто. Время шло к десяти часам. Ночной морозец еще не успел убраться с улиц, но солнце светило ослепительно ярко, пробиваясь сквозь трепетную, искрящуюся завесу из пылинок. Прохоцки в каком-то легком опьяне-

нии неспешно брел по улицам; он не слишком раздумывал, какое направление выбрать, просто шел себе и шел, со сладостно-щемящим звоном в ушах, к Бельварошу, к центру города. Инстинкты вели его тем путем, в конце которого — когда-то давно — его поджидала «Сибирская куница» с ее сверкающими витринами. Вот уже семь лет, с тех пор как его национализировали, он издалека обходил не только свой бывший магазин, но и страстно любимую улицу Ваца.

Ровно в десять часов два энергичных долгих звонка раздались в квартире Прохоцки. К величайшему изумлению хозяйки, перед дверью выстроилась целая вереница людей. Впереди стояла какая-то толстая рыжая тетка, которая, как сонная курица, с равномерными интервалами моргала своими выпученными глазами. За ней, с двумя тяжеленными чемоданами в руках, — доктор Браниско в сопровождении нескольких мастеров. По всей лестничной площадке громоздились ящики, ведра, лестницы-стремянки и всевозможные инструменты.

— Прошу прощения, дорогая тетушка, — сказал доктор. — Правда, квартиру эту мне обещали, но лучше подстраховаться... Вы уж будьте так добры, позвольте нам вселиться.

Ирма впустила в квартиру весь караван и радостной улыбкой поблагодарила доктора за поцелуй руки, однако в учащенном биении ее сердца уже улавливалась морзянка дурных предчувствий. И действительно, в последующие часы в квартире Прохоцки разыгрались тягостные сцены.

Мастера принялись за работу. Каменщик осматривал и замерял стены, другой мастер снимал с окон ветхие жалюзи, слесарь подыскивал подходящее место для радиаторов с газовым отоплением, доктор же, которого с любопытством обступили мать, супруга и Ирма Прохоцки, вертел в руках лампу с пергаментным абажуром.

— Двадцать форинтов, дорогая тетушка. Как по-вашему, мама? — обратился он к своей необъятной мамаше, которая в знак согласия дважды моргнула выпученными глазищами.

— Да что вы такое говорите? — Ирма выхватила у него лампу. — Это же мейсенский фарфор. Вы сами сказали, что эта лампа — свидетельство абсолютного вкуса.

— Как же, как же, дорогая тетушка. Но, к сожалению, абажур придется подновить. А теперь, мама, взгляните на эту печь. Это якобы французский фарфор.

Рыжая толстуха, в очередной раз моргнув глазами, одобрила изящную печь, а доктор предложил за нее еще более оскорбительную цену, чем за лампу. Алебастровые щеки Ирмы начали наливать румянцем, и обе родинки вспыхнули красными сигналами опасности... Когда же доктор Браниско, подступив к постели Михая, сказал: «А за это мы дадим триста форинтов, верно, мама?» — Ирма Прохоцки не только излечилась от своих прежних восторгов, но и тотчас сменила их на живейшее отвращение.

— Я считала вас благородным человеком, — холодно проговорила она. — Мы находимся в стесненных обстоятельствах, и вы, зная это, ведете себе некорректно...

— Некорректно? — поразился доктор и взглянул на мать, как бы прося поддержки. Но та знай себе моргала, явно не понимая, какие могут быть претензии к ее сыну. А доктор Браниско, недоуменно качая головой, уселся и дважды подпрыгнул на постели, проверяя пружины. Мастер перестал заниматься жалюзи и слез со стремянки, каменщик поднялся с колен, слесарь тоже пришел из кухни, и все они, обступив постель Михая Прохоцки, ждали результатов торга.

А Михай Прохоцки приблизительно в это же время добрался до улицы Ваца. Он остановился в начале изящной, плавно изгибающейся улицы против здания бывшей гимназии пиаристов и торжественной поступью двинулся к площади Вёрёшмарти, по направлению к прежней оптической мастерской Кальдерони и кондитерской Жербо.

Потеплело, ему пришлось расстегнуть пальто. Повсюду сновало множество людей, и это несколько озадачило его: тайне он полагал, что улица, с тех пор как он покинул ее, вымерла и опустела. Однако тут он ошибся. Улица кишмя кишела прохожими — торопливо спешащими и лениво разгуливающими, плящущимися на витрины и болтающими между собой; народу было столько, что на тротуарах не поместиться, люди толпились и на мостовой, где с оглушительным ревом про-

носились машины и автобусы, чудом избегая несчастных случаев.

Прохожки радостно поддался движению толпы. Задерживался вместе с остальными то у одной, то у другой витрины и разглядывал то же, что и они. Правда, ему нужно было купить всего лишь подкладку к пальто из какого-нибудь дешевого отечественного меха, да и то лишь в угоду настойчивому желанию Ирмы; однако и приданое для новорожденных, и парфюмерные товары, и дамские шляпки, и даже предметы санитарии и гигиены вызывали в нем интерес. Это праздное созерцание наполнило его душу ностальгически-сладостным счастьем.

Кто лучше его знал, сколь прекрасной и элегантной, изысканно великолепной была эта улица! Да и не улица, а какая-то другая, более возвышенная категория — символ, ранг, то есть, как говорится, особое понятие. Какая обувь, какие кожаные сумки, горностаевые накидки, лыжные свитеры и подвенечные букеты, всевозможные испанские вина и крабы за стеклом витрин! А какие женщины — нарядные, благоухающие, с изящной походкой — и плечистые, бравые мужчины истерли до гладкости плиты этой мостовой! На всех языках мира слова «улица Ваца» имели вес. «Где изволили приобрести сию шубу?» — «У скорняка с улицы Ваца». И это придавало вещи особый ранг, примерно как среди лордов наибольшим почетом пользуется тот, кто получил свой титул от самого древнего короля.

Теперь всему этому конец. Другие люди, другие товары, другие витрины. Незнакомые фирменные вывески, за которыми кроются прочные, но малопривлекательные массовые товары. Плохое размещение ассортимента, безвкусные декорации, неумелое оформление витрин. Прохожки бросал по сторонам ключие взгляды, медленно продвигаясь вместе с людским потоком вдоль той стороны улицы, напротив которой когда-то помещалась «Сибирская куница». Он остановился перед крохотной, тесной витриной, где были выставлены накидки из голубого песка и свалявшийся соболий мех не первой свежести, когда узкая дверь вдруг распахнулась и чей-то голос воскликнул:

— Ба, кого я вижу! — И из магазинчика вместе с облаком спертого воздуха выскочил толстый юркий человечек из той по-

роды людей, что и летом, и зимою одинаково обливаются потом. — Очень-очень рад, господин Прохоцки.

Прохоцки отнюдь не очень радовался этой встрече. Толстый человечек оказался не кто иной, как Ш. Вайсбергер, его опаснейший противник в былые времена. Вайсбергер, к примеру, не гнушался рекламой в кино и газетах — от таких ярмарочных способов фирма «Прохоцки и сын» неизменно воздерживалась, — заламывал бешеные цены и вдобавок ко всему обманывал покупателей. К сожалению, особенность скорняжного дела заключается в том, что покупатель лишь годы спустя обнаруживает, что его надули. Вследствие всех этих причин заведение Ш. Вайсбергера стало процветающим и завоевало широкий круг покупателей не только среди нуворишей и евреев-банкиров, — даже в числе исконных клиентов «Сибирской куницы» отыскивались неустойчивые семейства; ослепленные блеском мраморных прилавков и угодливой лестью Вайсбергера, они подались на его сторону.

— Я смотрю, вы открыли свое заведение, — сказал Прохоцки и не поспешил на вежливую улыбку бывшему конкуренту. Тот смерил старика испытующим взглядом.

— Лучше бы мне этого не делать! Вам, наверное, тоже доводилось читать, что теперь мелкое ремесленничество якобы поощряется... И я, глупец, поддался на эту удочку.

— Ну, что вы... — сказал Прохоцки. — Открыть свой магазин — это же великое дело!

— Это, по-вашему, магазин? — Вайсбергер махнул рукой назад, в сторону вонючей дыры. — Разве это достойно имени Вайсбергера?

— Какова цена этой накидки? — Прохоцки указал на песка. Испытующий взгляд Вайсбергера сделался подозрительным. Вместо ответа лавочник начал жаловаться: расходы большие, налоги еще того больше, а денег у покупателей и вовсе не стало...

— Вас тоже эти думы одолевают? — он бросил на старика озабоченный взгляд.

Теперь, однако, Прохоцки счел за благо пропустить вопрос мимо ушей и продолжал допытываться насчет цены песка.

— Ах, какая разница, за сколько я его продаю! Клянусь, тут и сотни не подзаработаешь. Может, желаете осмотреть заведение? — спросил Вайсбергер, сдабривая каждое слово, как вкусовой приправой, капелькой пота,

— Данет, я просто прогуливаюсь, — уклончиво ответил Прохоцки и, кинув еще один уничтожающий взгляд на потертых соболей, со словами: — Прощайте, Вайсбергер, — приподнял шляпу и тем самым избежал рукопожатия.

Прохоцки двинулся дальше. Пройдя несколько метров, у бывшего знаменитого парфюмерного магазина «Хорват и Штовасер» он вдруг ускорил шаги и, даже ни разу не взглянув на противоположную сторону улицы, постарался как можно скорее покинуть эту опасную территорию.

Когда Прохоцки снова замедлил шаги, он проходил как раз мимо витрины антикварной лавки. За стеклом, вытирая пыль с хрустальных изделий и хрупких фарфоровых статуэток, сидела на корточках женщина объемистого сложения и с такой мощной грудью, какой под силу оказалось бы заполнить целиком всю витрину. Завидев старика, женщина уставилась на него, а затем на коленях подползла к витринному стеклу и постучала в него. Прохоцки не узнал ее, но, вежливо приподняв шляпу, раскланялся с пышнотелой уборщицей, которая, прижавшись носом к стеклу, долго смотрела ему вслед. А Прохоцки вышел на площадь, постоял там несколько минут, а затем, взглянув на часы, без промедления, решительным шагом двинулся теперь уже по противоположной стороне улицы к «Сибирской кунице».

Жена его за это время пережила очень тяжелые минуты. Относительно кровати никак не удавалось столкнуться. Браниско, самолично опробовав пружины, усадил возле себя свою мамашу, которая тоже качнулась разок-другой, а затем, моргая, уставилась на сына.

— К сожалению, больше я дать не могу, — тотчас отреагировал на это доктор.

— А я не могу уступить дешевле, — мрачно заявила Ирми, как бы прося поддержки, оглянулась по сторонам. Мастера стояли вокруг, внимательно прислушивались и молчали. Они ничем не выказывали своей позиции, однако молчание их красноречи-

во говорило, что в этом поединке они отнюдь не на стороне своего работодателя, хотя и получили от него аванс. Окрыленная их безмолвной поддержкой, Ирма бросилась в атаку.

— Пирожка, — обратилась она к докторше, — скажите же что-нибудь, дорогая моя!

— Что я могу сказать, тетя Ирма?

— Это же кровать моего Михая, старинная вещь.

Докторша, которая до сих пор прислушивалась к разговору, забившись в кресло, погасила сигарету. Она была очень бледна.

— Я в денежных вопросах не разбираюсь, тетя Ирма, — неуверенно проговорила она. — Возможно, Каца предлагает мало, но вы ведь все равно не можете взять деньги с собой.

Она метнула испуганный взгляд на свекровь и, подобно гибкой предрассветной тени, тесно прижалась к дородному телу мужа. Ирму охватил жестокий приступ кашля. До сих пор она выдерживала натиск с девичьей силой, но сейчас на нее вмиг накатила усталость и слабость. Краска отхлынула от лица, и даже родинки потухли. А между тем мастера, все до единого, теперь уже явно выражали свое недовольство. По лицам их было видно, что они готовы даже вернуть доктору задаток и спустить его с лестницы вместе с его мамашей; но Ирма уже отказалась от борьбы.

— Ладно, господин доктор, — измученным голосом выговорила она. — Я согласна на ваши условия.

Доктор Браниско, как волосатый паук, опустил свою лапу на хрупкий столик в стиле барокко. В течение пяти минут они с хозяйкой договорились о ценах и на прочие вещи, а затем, оставив после себя невероятный хаос и грязь, все посторонние удалились из квартиры.

Докторша плакала. Ирма прижала ее к себе и нежно погладила мягкие волнистые волосы.

— Не расстраивайтесь, Пирожка. Главное, чтобы вы с ним были счастливы.

Затем она отправилась в кухню собрать для Михая провизию в дорогу.

А Прохоцки в это время подошел к магазину мехов. Внимательно изучил облупившуюся жестяную вывеску:

МАГАЗИН № 1

Бельварошской промысловой кооперации
квалифицированных скорняков

В былую пору на вывеске — по широкому полю между гербами королевского дома и эрцгерцогской династии — вычурной золотой вязью было выписано:

СИБИРСКАЯ КУНИЦА

Прохоцки и сын, придворные поставщики

Над входом в салон висел колокольчик, отзывавшийся мелодичным звоном всякий раз, когда открывалась дверь; теперь и колокольчик сняли. Блуждающие огоньки венецианской люстры и таких же бра по стенам множились, отраженные в зеркалах; сейчас помещение было залито резким светом неоновых трубок. Во всем остальном обстановка сохранилась: те же прилавки и шкафы красного дерева, выписанные из Франции еще основателем фирмы.

— Добрый день, — смущенно произнес Прохоцки.

Он был единственным покупателем. В глубине помещения стояло человек семь мужчин, занятых пустой болтовней. «Моя бы в о л я, — подумал Прохоцки, — немедленно разогнал бы полувину...» Наконец на него обратили внимание, и косолапый молодой человек, длинной шеей и взъерошенными патлами напоминающий птицу-грифа, поинтересовался, что ему угодно.

— Мне нужна меховая подкладка к этому пальто.

Молодой человек уставился на него своими птичьими, без ресниц, глазами. Его кадык, точно желая измерить длину шеи, заходил ходуном вверх-вниз.

— Папаша! — заорал о н . — Идите сюда поскорее.

Вышел папаша — точная копия взъерошенного юнца, только с побелевшей шевелюрой и еще более взлохмаченный, горбоносый и кадыкастый. Он был облачен в застиранный портновский халат, который и сам не мог бы вспомнить, какого цвета был изначально; к отвороту халата был прикреплен черный шелковый шнурок, а на нем болталось пенсне в золотой оправе. Он об-

шарил Михая Прохоцки раздевающим взглядом — словно снял упаковку со свертка.

«Папаша» был не кто иной, как господин Примус, бывший закройщик «Сибирской куницы».

— Господин Прохоцки, так ведь? — взволнованно пролепетал он, в замешательстве теребя пенсне.

Они долго смотрели друг на друга, примеряя один к другому собственное постарение. «Он поразительно хорошо держится», — заключил господин Примус. «Ничуть не изменился», — подумал Прохоцки. Закройщик по-прежнему напоминал взъерошенного грифа. Как и прежде, двигал локтями и повторял свое неизменное «так ведь».

— Как поживаете? — вежливо осведомился господин Примус.

— Спасибо, хорошо, — сказал Прохоцки.

— Вы по-прежнему обитаете на улице Йожефа?

— Да.

— А как себя чувствует ваша почтенная супруга?

— Хорошо.

— Весьма счастлив был повидать вас, — сказал господин Примус звенящим голосом.

Наступило молчание. У Михая Прохоцки показалась из носа серебристая капелька и блеснула при свете неоновых ламп, но после энергичного шмыганья носом бесследно пропала.

— Ваш сын тоже здесь работает? — поинтересовался Прохоцки.

— А как же! Он, правда, еще учится.

— А барышня Эльвира?

— Эльвирочка теперь в антикварном магазине работает. Аккурат напротив.

— Любопытно, — заметил Прохоцки.

— Позвать ее? — спросил господин Примус.

— Не стоит, — сказал Прохоцки.

— Позвольте спросить: а вы чем теперь занимаетесь?

Однако Прохоцки не жаждал отвечать на этот вопрос. Остальные работники магазина, до сих пор занятые болтовней в глубине помещения, успели переместиться поближе, поэтому

Прохоцки ограничился замечанием, что он намеревается купить меховую подкладку.

— Что-нибудь поизящнее? — поинтересовался господин Примус.

— О нет! В силу известных причин речь может идти лишь о дешевых отечественных мехах.

Господин Примус вынес целую охапку мехов. Вместе со старым Прохоцки они отобрали легкую и мягкую на ощупь овчину, и молодой человек с шелковистыми волосами, постоянно державший в зубах нитку, удалился в мастерскую пришивать подкладку к пальто.

Пришлось ждать. Все молчали. Господин Примус вертел в руках пенсне и несколько раз проделал локтями такое движение, точно собирался вспорхнуть. Время тянулось тягостно, однако наконец появился молодой человек с ниткой в зубах. Прохоцки примерил пальто и остался доволен.

— Все в порядке, — сказал он закройщику и расплатился.

— Слышите? — шепнул коллегам господин Примус.

— Весьма и весьма доволен, — повторил Прохоцки и протянул руку господину Примусу. — Прощайте.

Закройщик, однако же, не выпускал его руку из своей.

— Позвольте все же спросить, где вы работаете, господин Прохоцки?

— Нигде, — ответил Прохоцки.

— Нигде не работаете? — поразился закройщик.

— Я старый человек, господин Примус.

— Помилуйте, да я на четыре года старше вас, так ведь? Коллеги! — взволнованно воскликнул он. — Перед вами господин Прохоцки! Надеюсь, этим все сказано, так ведь? И он нигде не работает! Ну разве это не возмутительно? Несравненный знаток своего дела, специалист с европейской репутацией, и не может устроиться на работу!.. Прошу всех высказаться по этому поводу.

Коллеги присоединились к его мнению. Молодой человек с шелковистыми волосами, по-прежнему не выпуская нитки из зубов, сказал:

— Такой специалист, каким вы расписываете господина

Прохоцки, безусловно, мог бы найти себе достойное место в нашем деле. Тем более что коллега Фербан все равно собирается уходить...

— Как бы не так! — обрушился на него господин Примус, и лишь сила притяжения помешала ему с досады вспорхнуть на плечо к дерзкому юнцу. — Михай Прохоцки — за прилавком? Вон вы что задумали, так ведь? А я вам скажу другое: ему место в правлении кооперации. Да что там: такому человеку место в министерстве!

Прохоцки против воли довольно улыбался. Но стоило ему бросить взгляд на неоновые трубки, как он решительно согнал с лица эту тщеславную улыбку.

— Не стоит об этом говорить, — строго произнес он.

Но господина Примуса не так-то легко было обезоружить. «По меньшей мере в министерстве!» — настаивал он. И Михай Прохоцки почувствовал, как по голове у него зашныряли мириады муравьев, потому что закройщик принялся рассказывать изумленным коллегам историю посещения Будапешта знаменитым месье Дюпре. Анри Дюпре с Рю де ля Пэ, где бьется сердце всего скорняжного дела, великий Дюпре, будучи представителем Международного пушного центра, однажды зашел в «Сибирскую куницу». «Позвольте показать вам изумительного соболя, месье Прохоцки», — сказал он и расстегнул пальто. И тогда Прохоцки подошел чуть поближе, но при этом даже кончиком ногтя не коснулся меха, лишь повертел головой, принаравливаясь к свету, и изрек: «Благодарю, сударь, что показали. Это и правда самая изумительная подделка, какую мне когда-либо приходилось видеть».

В салоне раздалась возгласы восторга и удивления. Прохоцки мизинцем почесал макушку.

— В среду будет производственное совещание, — сказал господин Примус. — Я доложу там о вашей ситуации.

— Совершенно верно! — горячо воскликнул молодой человек с шелковистыми волосами.

Михай Прохоцки и ему пожал руку. Манеры его приобрели какую-то юношескую молодцеватость; изящными мелкими шажками он поспешил к двери и оглянулся с такой ослепитель-

ной улыбкой, которую не мог затмить даже мрачный смысл его слов.

— Благодарю вас, господа, — сдержанно произнес он. — Однако в данный момент об этом не может быть и речи.

— А позднее? — подскочил к нему господин Примус.

— Позднее? — задумался Прохоцки и с такой грустью посмотрел на закройщика, точно юная девушка, уже обещавшая следующий танец другому. — Что будет позднее — этого я сейчас сказать не могу.

Унося с собой кисловатый — и столь дорогой сердцу — запах меха, он вышел на залитую солнцем улицу Ваца и пошел не оглядываясь.

Пока он добрался до дома, его движения успели утратить бодрый, молодецкый задор; запыхавшись от подъема по лестнице, он остановился перед дверью своей квартиры... Уму непостижимо, как могла столь короткая прогулка до такой степени утомить его!

«Ждем не дождемся дня, когда вновь сможем увидеть папу и маму. Очень просим нигде не задерживаться, ведь, к примеру, даже наша сверхутонченная лондонская сестрица не заслуживает того, чтобы вы ради нее высаживались на берег. Дело в том, что Лилла в свойственной ей возвышенной и литературной манере вчера поставила нас в известность, что им не под силу выплачивать ежемесячно те двадцать пять долларов, которые мы запросили — и действительно весьма скромно — на содержание наших дорогих родителей. А между тем до нас дошла весть о том, что Корнел Корнхубер, этот образцово-показательный корректный коммерсант, вытеснил из дела своего компаньона. Значит, их имущественное положение может считаться прочным, и несмотря на это они все-таки...»

Докторша на вокзале заставила их обоих принять снотворное, но Михай Прохоцки не мог заснуть. В купе горел только ночник, синий больничный свет тускло мерцал в спальном вагоне. Стук колес и тряска лишь приглушенно проникали в купе, убаюкивая как в колыбели... Прохоцки лежал на верхней полке, обратясь к окну, за которым проносилась глухая тьма. Лишь изредка темноту перерезали искры — словно кто-то раскален-

ным пером прочерчивал по черной поверхности огненные линии.

Ирма повернулась лицом к стене. Снотворное оглушило ее, но сон к ней тоже не шел. Молча тряслись супруги в этом передвижном склепе, замурованные вместе и все же каждый сам по себе. Им уже нечего было сказать друг другу.

Ирма вздохнула и повернулась на другой бок. В окне мелькнули огни, поезд проносился по освещенным улицам какого-то города, затем фонари пошли реже, а там и вовсе пропали. За окном опять была непроглядная темнота. Ирме вспомнилась лампа с пергаментным абажуром, столик в стиле барокко, старинные венские часы, стулья со спинками в виде лиры — знакомая, обжитая обстановка... Для чего, размышляла она, тот человек во что бы то ни стало желал приобрести печку, если он все равно собирается проводить газовое отопление? Как воображению подростка является стройная, обнаженная девушка, так перед ее взором витала фарфоровая печь, украшенная вверху белым цветочным букетом; но затем и печь канула в никуда.

Голубоватый, будто подводный свет мерцал в вагоне. Время остановилось. Может, они ехали час, а может, и два; в немом безмолвии часы прекратили свой ход. Ирма приподнялась на локте.

— А в понедельник в это время мы увидим Лиллу, — сказала она.

— Да, — ответил Прохоцки.

— Наверное, она тоже ждет не дождется...

— Да, — отозвался Прохоцки.

— Как-то странно ты отвечаешь, — сказала Ирма.

— Что же тут странного?

— Будто и не радуешься встрече, — сказала Ирма.

— Как не радоваться!

— Это счастье, — продолжала Ирма, — иметь таких любящих, самоотверженных детей, как Лилла.

— И Вера, — дополнил Прохоцки.

— И Миши, — добавила жена.

— Ну, а теперь поспи, — ласково сказал Прохоцки.

Они снова надолго замолчали. Вот за окном мелькнули огни,

тряский ход поезда стал замедляться, фонари пошли один за одним, часто-часто, пока наконец последний из них не остановился прямо напротив, на перроне, и не уставился им в глаза. Оба они тоже смотрели на этот фонарь. У Михая Прохоцки задергались веки, но он не в силах был отвести взгляд; все смотрел и смотрел, пока дверь в купе не открылась.

— Таможенная проверка, — сказал офицер с порога и отдал честь.

Прохоцки резким движением сел на полке. Все купе наполнилось хриплым, тяжелым дыханием Ирмы.

Ячмень

Дорогой он не чувствовал боли, хотя в машине порядком трясло. Автомобиль итальянской марки — тесная, скрипучая консервная банка на колесах — наверняка знавал лучшие времена, но теперь походил на исхудалую старую клячу, ничем не вызывая в пассажирах ассоциаций с дерзко несущимся вскачь гладкошерстым жеребенком, как в пору своей юности.

Путь был неблизкий, дорога — сплошь в рытвинах и ухабах; Попради все время прижимал к глазу повязку, чтобы ее не сорвало ветром. Наконец они добрались до Мишкольца и остановились у здания областного комитета партии, в тени развесистых каштанов.

У коллеги Агоштон были дела в обкоме, поэтому они с Попради распрощались, условившись, как только освободятся, но не позднее чем через три часа, встретиться на этом же месте. Бихари — шофер — предложил Попради подвезти его к «чудодейственному лекарю», но он отказался, сославшись на то, что после долгой тряски предпочитает пройти пешком, да и по кривым улочкам квартала, где живет доктор, на машине не проехать.

С тем он и собрался было идти, но Агоштон удержала его.

— Вы считаете, что можно вас отпустить одного?

— А как же иначе?

— Не знаю... С завязанным-то глазом еще наткнетесь на что-нибудь.

— Ну что вы! — Попради криво усмехнулся из-под повязки и . — Слепому да убогому никто не откажется помочь.

Эта шутка позабавила миловидную сотрудницу, которая — будучи уже разведенной — ровно год назад приехала в Балинтакн, где как раз начиналось строительство.

Вскоре вокруг нее увивалось немало поклонников, однако никому из них не улыбнулась удача. К примеру, Попради, который один-единственный раз отважился пригласить ее в кино, она отшила самым решительным образом. Но, правда, тотчас смягчила отказ: «Вы лично, товарищ Попради, здесь ни при чем», — и улыбнулась робкой улыбкой человека, который однажды уже обжегся.

С тех пор Попради не решался и глаз поднять на молодую женщину, хотя та была с ним так же приветлива, как и раньше. Вот и сейчас она заботливо посоветовала обратиться к окулисту больницы, расположенной тут же, на другой стороне площади, а не разыскивать какого-то престарелого лекаря, который, глядишь, давным-давно умер.

— Нет, он не умер, — заверил ее Попради.

— Ну, а вдруг он переехал в другой город?

— Он живет здесь, в Мишкольце, — стоял на своем Попради. — Матери удалось даже раздобыть его адрес... Видите ли, другого такого врача во всем свете не сыскать.

— Настолько уверовали в него?

— Конечно! Правда, я был еще мальчишкой, когда с отцом произошел несчастный случай, но я помню, что вместо глаза у него была кровавая рана. Мать рассказывает, что стоило врачу снять повязку, как он тотчас напустился на отца: «Нечего кричать попусту! Через месяц вы своим изувеченным глазом будете газеты читать...» Вот так и вышло, как он сказал.

— Умунепостижимо, — изумилась Агоштон, а шофер, облокотясь на руль, недоверчиво качал головой.

— Отец, куда был жив, превозносил его до небес. «Сын о к, — говорил он, бывало, — доктору Ливенштейну ты обязан тем, что отец твой не стал уличным попрошайкой...»

Слегка расчувствовавшись, Попради на прощание махнул рукой молодой женщине и двинулся в сторону набережной. По бульвару, длинному и тщательно ухоженному, спешили люди, многие из них сочувственно оглядывались вслед Попради. В Балинтакне бюро калькуляции, где он работал, стало поистине местом паломничества: знакомые шли один за другим, чтобы предложить ему снадобья одно другого лучше, которые якобы

должны излечить его болезненно набухший ячмень. Однако Попради дождался, пока коллега Агоштон выберется на машине в Мишкольц, где живет этот самый чудо-доктор. Никому другому он бы ни за какие блага мира не позволил осмотреть свой глаз.

Дойдя до конца живописного бульвара, он свернул в узкий проулок меж ветхих домишек, где вытянутой рукой можно было коснуться стены противоположного дома... В точности следуя указаниям матери, он, попетляв по тесным улочкам, благополучно добрался до улицы Калапош.

Именной таблички на калитке не было; судя по всему, некогда прославленный профессор предпочел известности тихую пристань. Его домик был таким же невысоким, как и все прочие. Как и остальные, он словно врос в землю; со стен точно так же осыпалась штукатурка, у крыльца чахлые лжеакации изнывали от жажды точно так же, как перед всеми другими домами на улице Калапош. Попради остановился у калитки.

Сквозь щели забора можно было заглянуть во двор. Выложенные из кирпича выщербленные ступеньки вели на небольшую веранду, дальний конец которой был застеклен синими, зелеными и красными стеклышками, по большей части треснутыми. В самой глубине веранды кучей в рост человека был свален уголь, припасенный на зиму... Кстати сказать, только это и наводило на мысль, что в доме живут люди.

Попради несмело потянул за ручку звонка, и натянутая над палисадником проволока загудела, качнув висящий на стене дома колокольчик. Заливистый звон потревожил было тишину, но затем опять все стихло, и вымерший двор взирал на незваного пришельца так же безмолвно, как и прежде.

Попради коснулся рукой забинтованного глаза, в котором вдруг настойчиво, требовательно запульсировала боль. Он еще раз — теперь уже нетерпеливо — дернул за ручку звонка, и наконец до слуха его донесся звук шаркающих шагов. Затем калитка чуть приотворилась, и из-под седых бровей, притененных козырьком желтой кепки, на него глянули подозрительно настроенные глаза. По всей вероятности, это был садовник или дворовый служитель.

— Я к господину профессору, — сказал Попради.

— К какому профессору?

— К профессору Ливенштейну. Или он здесь не проживает?

Старик приотворил калитку еще на сантиметр-другой и повнимательнее взгляделся в повязку, закрывающую глаз Попради.

— Если вы пожаловали из-за комнаты, то он действительно здесь не проживает.

— Из-за какой комнаты?

— В доме нет ни одной лишней комнаты.

— Я пришел не из-за этого, — сказал Попради и нерешительно поднес руку к левому глазу, который горел так, словно в него ткнули раскаленным углем.

Старик распахнул калитку. Склонив голову набок и ссутулившись, он зашаркал было к дому, но вдруг опять остановился, преградив Попради путь.

— Значит, вы к Ливенштейну, — по-прежнему настороженно произнес он. — Я и есть Ливенштейн.

Попради оторопел. У него сложилось вполне определенное представление о знаменитом профессоре: суровый человек гигантского роста, с бакенбардами, одетый во все белое с головы до пят, дерзит, грубит пациентам и даже покрикивает на них, зато возвращает зрение слепым, а с неимущих больных не берет ни гроша... Таким жил в его воображении грозный профессор, которого так подробно обрисовала ему мать. В прежние времена считалось хорошим тоном, если врач грубо обращается с пациентами. Большинство врачей, становясь университетскими профессорами, перенимало эту священную традицию, заложенную неким всемирно известным венгерским хирургом... «Чудодей» тоже покрикивал на всех и каждого, невзирая на пол, ранг и имущественное положение. Горланил он в ту пору, когда его пригласили работать в столичной глазной клинике, не утихомирился и в период нилашистского террора, когда его выгнали из университета. Он перебрался в свой родной Мишкольц и продолжал грубить пациентам.

Однако профессор в этом не следовал моде. Его реакция была естественной: доктора до глубины души раздражало любое

слово, которое не имело прямого отношения к картине заболевания. Его интересовали лишь болезнь и сам больной, да и тот лишь до тех пор, покуда действительно был болен. Он приходил в ярость от капризов и мнительности, а стоило больному при описании симптомов чуть отклониться в сторону, как он тотчас выходил из себя... Он ненавидел родственников за то, что те всегда сводили разговор к случайным, ничего не значащим подробностям. Поэтому он набросился и на матушку Попради, когда та вздумала выразить ему благодарность.

С той поры минул двадцать один год. Старик, беспомощно топчущийся под худосочными акациями, напоминал печальный шарж на прежнего надменного крикуна-профессора. Нестриженные волосы болтались возле прозрачно-тонких ушей, оттопыривающихся по бокам усохшего черепа подобно крыльям летучей мыши. Тощие икры торчали из обтрепанных штанов, шишковатые пятки выпирали из стоптанных лыковых шлепанцев, которые при каждом шаге норовили свалиться с ног...

— Значит, вы не по поводу комнаты?

— Нет.

— Я подавал заявление, что комната была разрушена при обстреле и не пригодна для жилья. Там хранятся книги моего сына Альберта.

Старик смотрел в сторону, ресницы его часто мигали. Ему было стыдно, что голос его подводит, и, сделав над собой усилие, он хрипло продолжил:

— Все наши просьбы остались без внимания: уже трем семьям пытались предоставить эту комнату... Я не потому за нее цепляюсь, что она когда-то принадлежала моему сыну, в ней и правда жить нельзя.

— Я пришел не за этим.

— А зачем?

— Глаз у меня болит, господин профессор.

Старик перевел взгляд на него.

— Что у вас с глазом?

— Ячмень или что-то в этом роде... Это мама мне забинтовала.

Хозяин какое-то время не говорил ни слова. Он недоверчиво

смерил взглядом Попради, но не обнаружил в его облике ничего подозрительного. Более того, этот незнакомый молодой человек, имени которого он так и не разобрал, своей робостью и немногословием вызывал в нем явную симпатию. Рубашка на нем была чисто выстирана, костюм выглядел чуть ли не новым, а профессор когда-то даже требовал, чтобы каждый, кто идет к врачу, облачался во все парадное.

— Если у вас болит глаз, то почему вы не обратились в больницу? — спросил он.

— А вы разве не принимаете, господин профессор?

— Я? — удивленно воскликнул профессор. — Что-то я ничего не пойму. Кто вас надоумил прийти ко мне?

Попради кашлянул.

— Я — сын Эрне Попради, того самого, которого вы, господин профессор, оперировали двадцать один год назад. Вы наверняка его помните.

— Попради? Нет, не помню.

— В литейном цеху покачнулась форма с жидким металлом; четыре человека сгорели на месте, а моего отца доставили к вам, потому что ему в правый глаз попала капелька расплавленной стали.

— Ну и что же, выздоровел ваш отец?

— Так точно, господин профессор.

Попради умолк в надежде, что ему удалось разъяснить причину своего прихода сюда.

Однако старик не оставил своих расспросов:

— Так это он направил вас сюда?

— О нет! Отец умер еще до войны, и не в Диошдёре, а в Балинтакне, потому что после того несчастного случая наша семья переселилась туда...

Эти подробности профессора не интересовали. Он страдал эмфиземой легких, и дышать ему было тяжело; какое-то время слышались только эта его одышка да нервное поскрипывание шлепанцев. Профессор погрузился в свои мысли.

— И вы желаете, чтобы я вас осмотрел?

— Да.

Профессор бросил взгляд на повязку.

— Мама! — негромко окликнул он, обращаясь куда-то в глубь веранды, украшенной цветными стеклышками.

Попради в полном изумлении увидел, что куча угля, которую он принял за припасенное на зиму топливо, в действительности оказалась старухой, восседающей в кресле с репсовой обивкой и растерянно переводящей взгляд с профессора на неожиданного посетителя. Все на ней было черное: платье, ботинки, платок на голове и кружевная шаль размером с добрую скатерть, в которую старуха зябко куталась... Неподвижно застывшая в кресле, она и в самом деле напоминала груду угля.

— Was will er? * — спросила старуха.

— Er ist krank **.

— Lass dir keine Geschichten erzählen, Albert... ***

Попради неплохо знал немецкий, однако не мог взять в толк, с чего это вдруг старуха уставилась на него, качая головой, и внезапно разрыдалась.

— Я оперировал его о т ц а , — продолжал по-немецки профессор . — Двадцать один год тому назад, еще до того, как мы переехали в Пешт... А они до сих пор помнят меня.

Старуха не сводила глаз с Попради.

— Как вас звайт? — спросила она на ломаном венгерском. — Не Грауэр?

— Нет, не Г р а у э р , — ответил П о п р а д и . — Меня зовут Эрне Попради-младший.

— Пожалуйста в д о м , — пригласил профессор.

Дом встретил Попради удручающим беспорядком. Бархатная скатерть с бахромой застилала стол, к которому была прислонена изящная виолончель; картины выстроились в ряд, но не по стенам, а на полу, вдоль стены, за исключением одного портрета, изображавшего темноглазого юношу с усиками. Профессора явно огорчал этот беспорядок; он придвинул к окну стул, сбросив с него какую-то бумагу сплошь в жирных пятнах, кусок сургуча и карандашный огрызок. Медленными, осторожными движениями он снял повязку.

* Чего он хочет? (нем.).

** Он болен (нем.).

*** Пусть он тебе зубы не заговаривает, Альберт... (нем.).

— Ячмень, — тотчас определил он. — Вам больно?

— Да.

Профессор кивнул головой и достал из шкафа какую-то коробку, откуда извлек завернутые в белые салфетки инструменты. Затем приладил на лбу зеркало.

— Извольте, пожалуйста, смотреть кверху, — попросил он с такой учтивостью, что Попради усиленно постарался закатить глаза. Потолок был затянут густой пленкой серой пыли, а в комнате ощущался затхлый дух — тот специфический мышинный запах, который исходит от одежды людей очень старых.

— Необходимо вскрыть, — сказал профессор.

— Да-а?

— У вас гнойный ячмень. Придется обратиться в больницу.

Попради задумался на мгновение.

— А вы не могли бы мне помочь, господин профессор?

— Не в том дело! Вскрывать такой гнойник можно лишь в стерильных условиях, а значит, кто-то должен при этом ассистировать и так далее... Больницы вам не избежать.

Попради подслеповато моргал от яркого света, отраженного зеркалом. Он помолчал с минуту, а затем с неколебимым упорством произнес:

— Вы тоже могли бы это сделать, господин профессор.

— Хотите, чтобы я вскрыл нарыв?

— Да.

Профессор разволновался. Он выскочил из комнаты, и было слышно, как он допытывается у матери, осталась ли в живых некая Маришка Биро и если она жива, то где ее можно найти. Затем он объявил Попради, что на следующий день в пять часов вечера ему будет оказана помощь в надлежащих условиях.

— А нельзя ли сейчас? — попросил расстроенный Попради.

— Нельзя.

— Видите ли, мне придется добираться издалека... да и дел невпроворот...

— Нельзя! — повторил профессор с капризным упрямством ребенка, которому хотят испортить игру.

К следующему дню в комнате было тщательно прибрано. Виолончель исчезла куда-то, и вся уйма мелкого хлама тоже

пропала без следа, а по комнате сновала-суетилась какая-то пожилая дама с медальоном на бархатной ленточке, болтающимся меж двух огромных, мягких и добрых грудей кормилицы. Дама предложила Попради сесть и повязала ему на шею белоснежную салфетку. Затем вошел доктор, свежесбрившийся, с румяными, как яблоки, щеками и зеркалом на лбу и важно, несмотря на согбенную спину, прошествовал к окну. Он не ответил на приветствие Попради и вообще вел себя так, словно больного и не было здесь, а в комнате находился лишь его левый глаз. Вся процедура заняла минуту-другую и почти не причинила боли. Звякнула на столике игла с серебряным кончиком. Профессор выпрямился.

— Готово, — коротко сказал он.

— Как, уже?

Профессор не счел нужным ответить. Он наложил повязку, а затем распорядился:

— Извольте зайти завтра. Возможно, я окончательно сниму повязку.

Так оно и вышло: на следующий день повязка уже не потребовалась.

— Ранка затягивается нормально, — заметил профессор во время осмотра. — Теперь важно только одно: побережь глаз. Ячмень образуется в условиях загрязнения, так что постарайтесь находиться на чистом воздухе, подальше от пыли...

Попради улыбнулся:

— Наверяд ли получится, господин профессор. У нас пылица, как в песчаной пустыне... Вам не доводилось бывать в Балинтакне?

— Давненько... И где же там пылица? В долине?

Пока профессор мыл руки, Попради рассказал, какой город вырос на месте заброшенного, обреченного на гибель рудника — с железнодорожным вокзалом, школами, универмагом, кинотеатром и так далее...

— А инженеров ищем даже по газетным объявлениям, — закончил он свой рассказ.

Профессор отложил в сторону полотенце и взглянул на стену, где висел портрет темноглазого юноши.

— Мой сын Альберт тоже был инженером.

— Его нет в живых?

Старик перевел на него взгляд.

— Он был казнен.

— Нилашистами?

Врач отвернулся. Когда его выгнали из будапештской клиники, семья решила вернуться в Мишкольц. Сын вышел на станции Каль-Капольна, чтобы купить сигарет. У табачного киоска его остановили для проверки документов и через пять минут расстреляли в конце платформы, чуть ли не на глазах у остальных пассажиров.

— Ну, что ж, — произнес он дрогнувшим голосом, — на том и расстанемся.

Он протянул пациенту руку.

— Как — расстанемся? Разве мне больше не нужно приходить?

— В этом нет необходимости.

Попради удивленно уставился на него. Он лишь сейчас заметил, что старик постригся и его седая грива, аккуратно зачесанная за уши, серебристым венчиком обрамляет тонзуру. Стараниями парикмахера профессор решительно помолодел.

— Если надо, я могу приехать для повторного осмотра. Скажем, через неделю.

Профессор воззрился на Попради, вернее, не на него, а на его левый глаз.

— Не думаю, чтобы в этом была необходимость. Уверен, все и так обойдется... Конечно, если возникнут какие-либо осложнения, тогда другое дело.

Профессор оживился и бодро проводил его до двери.

— Я обязательно приеду, господин профессор.

Три дня Попради работал без продыху, позабыв обо всем на свете. Однако на четвертый день его охватило какое-то беспокойство; несколько раз он вскакивал с места и наконец поступал в кабинет коллеги Агоштон.

— Я слышал, вы собираетесь в Мишкольц.

— И вас с собой прихватить? Да вот беда: все места в машине уже заняты...

— Можно взять машину побольше.

— У вас что-нибудь срочное?

— Профессор строго-настрого наказал явиться к нему на осмотр.

— Так бы сразу и сказали! С глазами не шутят, лучше уж мы как-нибудь потеснимся.

Час спустя Попради позвонил у калитки дома на улице Ка-лапош. Престарелая мамаша и на этот раз восседала на вер-ранде — мрачная и черная, как катафалк. Зато профессор встретил его с необычайной живостью.

— Ну, как дела? А я, признаться, и не ожидал вас увидеть. Уж не струсилось ли чего?

Попради уселся на стул.

— Иногда, знаете ли, чувствую себя неважно. Глаз что-то побаливает...

— Что вы ощущаете: острое покалывание или тупую тяжесть под веком?

— Скорее эту... как е... — пробормотал По пра ди. — Тупую тяжесть...

Профессор подсел к столику, где на белой салфетке наготове ожидали инструменты.

— Ничего не понимаю! Ранка почти зажила, на роговице никаких повреждений.

Он смазал ему веки какой-то мазью. Попради откланялся, но в конце недели ему удалось вместе с начальником строитель-ства увязаться в город, и он опять направился к профессору.

Попради хотел было потянуть за ручку звонка, но в этот момент из калитки вышла какая-то девушка в красной блузке, прижимая к глазу клочок ваты. Поэтому он напрямик прошел в комнату к профессору, который как раз мыл руки.

— Ах, это вы! — воскликнул тот отнюдь не дружелюбным тоном.

— Я, господин профессор.

— Неужели все еще болит?

Врать Попради был не мастак.

— Вроде бы и побаливает. И вообще у меня какое-то стран-ное ощущение, господин профессор...

Врач нацепил зеркало, заглянул в глаз.

— Вы что, меня за дурака принимаете?

— Помилуйте, господин профессор! Я зашел, чтобы расплатиться с вами за лечение, а поскольку вы сами спросили, я и обмолвился, что ощущаю иногда какой-то странный зуд...

Слова застряли у него в горле.

Профессор швырнул зеркало на столик, выпрямился и глянул на него, как разгневанный великан.

— Что-о? — взревел о н . — Расплатиться? Вот ведь взялся со мной шутки шутить! Глаз у него, видите ли, побаливает, а у самого всю болезнь давным-давно как рукой сняло... Чего вы ко мне привязались?

— Да вовсе я к вам не привязался, господин профессор! — оправдывался Попради, сжимая уголок голубого конверта, в котором было приготовлено вознаграждение для профессора. Однако разъяренный взгляд старика пресек его дальнейшие попытки. Попради растерянно попятился и, чтобы, не привлекая внимания, вытащить руку из кармана, достал сигареты и закурил. Однако этим он не спас, а лишь ухудшил положение.

— Еще и дымить вздумали?! — взревел старик уже с веранды, потому что Попради с перепугу успел отступить в палисадник. Но профессор, не переставая теснить противника, продолжал выкрикивать: — Пристал как банный лист с этой взяткой своей, симулянт несчастный, да еще вдобавок кабинет продымил!

Попради очутился на улице, но профессор, перегнувшись через забор, горланил так, что в домах одно за другим распахивались окна. Беглеца сопровождали любопытные взгляды соседей и грохочущий профессорский глас:

— Подумать только: ввалился в глазной кабинет с вонючими сигаретами! И чего, спрашивается, шляться по врачам, если здоров как бык?

Попради остановился лишь в конце улицы. Обернулся и, высоко приподняв шляпу, поклонился рассерженному профессору. А на следующий день, когда у него спрашивались о самочувствии, он с легким сердцем отвечал:

— Все прошло.

Рассказы-минутки

Egyperces novellák

Способ употребления

Эти рассказы, несмотря на их краткость, — законченные художественные произведения.

Их преимущество в том, что они не требуют от вас большой затраты времени, не требуют длительного внимания на недели или месяцы.

Пока варится яйцо всмятку, пока набирается нужный номер телефона (который занят), можно прочесть рассказ-минутку.

Плохое самочувствие, расшатанные нервы — тоже не помеха. Рассказы эти можно читать сидя и стоя, в дождь и ветер, в битком набитом автобусе. А большинство из них вы не без удовольствия прочтете даже на ходу.

Рекомендуется обращать внимание на заголовки. Автор стремился быть кратким, стало быть, не мог дать рассказам ничего не значащих названий. Прежде чем сесть в трамвай, мы всегда смотрим, какой номер. Для этих рассказов название — столь же важная деталь.

Это, конечно, не означает, что достаточно прочесть один заголовок. Сначала заголовок, потом текст — таков единственно правильный способ употребления.

Внимание!

Если вы чего-либо не поняли, перечитайте неясный рассказ. Если вы опять не поняли, значит, корень зла в самом рассказе.

Нет глупых людей, есть неудачные рассказы!

В провинции

Когда торжества по случаю Дня книги кончились и участники разошлись по домам, ко мне подошел работник городской библиотеки.

— Вас дожидается та самая Тёрёк. Хотите с ней встретиться?

— С удовольствием, — сказал я.

— Кажется, я предупреждал, — спросил он меня, — что она тяжелая сердечница?

— Да, — сказал я.

— Ну, тогда я ее позову, — сказал библиотекарь.

Он пригласил ее войти и затем оставил нас одних. Тёрёк — женщина лет сорока, передвигавшаяся с палочкой и очень медленно, — ухватившись за подлокотники, опустилась в кресло. Размытые черты ее бледного и одутловатого, несколько отечного лица свидетельствовали о большой доброте и не меньшей чувствительности.

— С каких пор вы занимаетесь писательской деятельностью? — спросил я.

— Вот уже десять лет, — ответила женщина.

Мне бросилось в глаза, что у нее нет при себе рукописей. А ведь такие читательские встречи в провинции чаще всего кончаются тем, что один-два человека из публики, дождавшись, пока зал опустеет, вручают свои стихи или рассказы. По большей части эта дилетантская писанина не многого стоит, но иной раз таким образом выбираются на свет божий и первые проблески скрытых талантов. Однако эта женщина явилась с пустыми руками.

— Есть у вас какое-нибудь законченное произведение? — поинтересовался я.

Женщина огляделась по сторонам, словно желая убедиться, что никто не подслушивает.

— У меня есть три драмы, два романа и примерно восемьсот рассказов.

— Так много? — поразился я.

— Разве это много? — изумилась она.

Женщина с самого начала держалась несмело; если же какой-то из моих вопросов повергал ее в смущение, она внезапно роняла руки на колени и уголки ее мягких, бескровных губ начинали подрагивать. Вот и сейчас наступила такая реакция; желая сгладить неловкость ситуации, я перевел разговор на другое:

— Я слышал, ваше здоровье оставляет желать лучшего.

— Да, я — тяжело больной человек, — сказала она с бесстрастным равнодушием, словно речь шла о каком-то ее дальнем знакомом. Точно так же холодно, всего лишь в нескольких фразах, она рассказала о своей жизненной трагедии.

Когда немецкие части оставили город, она выпустила двоих своих сынишек поиграть. Через несколько минут после этого немцы обстреляли улицу, и обоих детей убило осколками. Мать бросилась к ним, упала на бездыханные тела и даже не почувствовала, что и сама ранена осколком в поясницу... И этот крошечный кусочек железа, словно сама смерть отложила личинки в ее теле, обрек женщину на медленное угасание. Четыре раза ее оперировали. Удалили ей одну почку. Из десяти истекших лет полтора года она провела в больнице и в общей сложности пролежала в постели четыре года. К тому же прошлой весной у нее обнаружили сердечную астму... Муж этой женщины, агент по снабжению на сахарном заводе, часто бывает в отъезде, а она целыми днями сидит одна и пытается заглушить в себе чудовищные обвинительные вопросы: «Зачем ты открыла дверь? Зачем выпустила детей на улицу?» А если человек без конца терзает себя такими мыслями, разве может у него выдержать сердце? — под конец спросила она.

На это я не мог ей ответить. Есть раны, которые не залечиваются.

— Если я не ошибаюсь, то с тех пор вы и принялись писать? — спросил я, начиная понимать, в чем тут дело.

— Да, как раз десять лет н а з а д , — сказала женщина.

— И публиковались ваши произведения?

— Ещ е н е т , — ответила она.

— А кому вы обычно их показываете?

— Н и к о м у , — сказала она.

— И вы даже никому не читали своих работ?

— Н е т , ни разу не читала , — ответила она.

— Но почему же? — удивился я.

— Я даже и не помышляла об э т о м , — сказала она, и уголки рта у нее дрогнули.

— Этому я не в е р ю , — тихо заметил я в ответ.

Уголки губ у нее подрагивали, но она молчала. И лишь чуть погодя призналась, что не показывала никому свои произведения из боязни получить резкую оценку. К примеру, местный библиотекарь — тот, что свел н а с , — сочинил одноактную пьесу, послал ее в один из будапештских театров, и восемь месяцев ему ни ответа, ни привета... Или еще один пример: учиться в здешней гимназии юноша, который пишет стихи. Сама она этих стихов не читала, но ученик очень прилежный, начитанный и скромный, наверняка и стихотворения у него хорошие. И все же некий столичный поэт отозвался о них так: «Вы легко можете бросить это занятие. Все, что вы пишете, это не стихи, а напрасная трата бумаги».

Немало времени прошло, прежде чем мне удалось поколебать ее недоверчивость. Мы порешили на том, что следующим утром, за десять минут до отхода поезда, встретимся на вокзале и она передаст мне несколько рассказов и часть третьего романа, над которым сейчас работает. Я же по возвращении домой прочту их и сообщу свое мнение в письменном виде. Мы расстались друзьями.

Кровать в гостинице была короткой, жесткой, с выпирающими пружинами. Я долго не мог уснуть. Из головы у меня не выходили восемьсот рассказов, пьесы и романы несчастной женщины. Почему же, собственно говоря, берется за перо человек? — в который уже раз задал я себе вопрос.

Человек пишет потому, что талант требует выхода. Пишет, желая тем самым помочь людям. Пишет потому, что ничего другого не умеет делать, потому что хочет заработать деньги, удовлетворить собственное честолюбие или завоевать сердце прекрасной дамы... Не одно, но тысяча побуждений направляют каждый наш поступок. Но судя по всему, человек берется за перо и по другой причине: он пишет потому, что обоих сыновей его разорвало снарядом, а дверь навстречу смерти открыл он сам.

Поутру, когда я проснулся, шел дождь. День был воскресный, пассажиров оказалось немного; я стоял под навесом крыши у станционного здания и оглядывался по сторонам, но женщину так и не увидел. Подошел поезд, пришлось садиться; на перроне и поблизости — ни души. Наконец поезд тронулся. На повороте я оглянулся — оттуда дорога к городу была как на ладони, — но лишь военный грузовик скользнул под мост, а позади одиноко блестел мокрый асфальт. Тёрёк не пришла. А ведь я, мелькнула мысль, наверняка не сказал бы ей, что ее занятие — напрасная трата бумаги. Но она писательской известности предпочла безвестное писание, чтобы не подвергать риску собственную жизнь.

Деревенская хата, саманные стены, соломенная крыша

Старушонка сидела на краю постели. Лицо ее сплошь в морщинах, складках и бороздах; только зубы сверкают молодо. Тридцать два великолепных новехоньких зуба, вставленных в Эгере в поликлинике соцстраха.

Ханна Касонь приветливо улыбнулась старушонке и поднесла микрофон.

— Смелее, рассказывайте дальше, бабушка, — сказала она. — Ни тише, ни громче, а обычным голосом, как до сих пор. Этот прибор устроен для того, чтобы увековечить чудесные старинные предания, которые вы такая мастерица рассказывать, милая бабушка.

— Не надо ей объяснять, — вмешался внук, который в одних трусах валялся на другой кровати, уткнувшись в томик Бальзака. — Бабушку весной показывали прямо по телевидению.

— Ну, тогда давайте приступим, — подбодрила старушонку Ханна Касонь и повернулась ко мне: — Включи, пожалуйста.

Я запустил магнитофон. Бабка без малейшего смущения, неторопливо, на чуть заметном палочком диалекте повела рассказ о Балинте Кише, кузнеце богатырского сложения, равных по силе которому не было в округе; и вот за таким-то богатырем однажды у Хадикского моста по льду погнался урдалак и загонял кузнеца до смерти.

— Не урдалак? — поинтересовалась Ханна Касонь.

— Я отродясь «урдалак» говорила, касатка.

— Ну, значит, так оно и есть. А какие они, эти «урдалаки», милая бабуся?

— Э-э, детка моя, я уж их на своем веку столько перевидала, урдалаков этих. Иной раз тощей попадется, ну что твое кнутовище, и только, а сзади за ним хвостана длинный тащится; а то еще бывают этакие ма-ахонькие — с мышиный хвостик, и вроде как огонечки поверху светятся, чисто свечечки. Уж какие попадутся, касатка, такие и есть. Намедни, возьми к примеру, вот тут, по двору, огромный такой урдалачище пробежал — что твоя колокольня.

— И что же, бабуся, вы его своими глазами видели? — спросила Ханна Касонь.

Старушонка, пораженная, замолчала, и новехонькие челюсти ее кляцнули. В полном изумлении уставилась она на Ханну Касонь.

— А то как же? — спросила она наконец. — Да вы что же, золотко мое, неужто сроду урдалаков не видывали?

— Видеть как-то не доводилось, — осторожно подбирала слова Ханна Касонь. — До сих пор я полагала, что они встречаются только в сказках.

— Где же это вы, золотко мое, работаете? — удивилась бабуся.

— В университете имени Лоранда Этвёша, бабуся.

— Чудно, — покачала головой старушонка. — Выходит, там же, где и мой старший внук учится. Чего он там все, сказывал, проходит, наш Йошка? — повернулась она к постели, где валялся парень в трусах. — Завсегда оно у меня из головы выскакивает.

— Кибернетику, — буркнул внук, не отрываясь от «Кузины Бетты».

Математика

Они зашли в пивную «Апостолы». Выдающийся физик возжелал выпить стаканчик вермута, а Силади потянуло на пиво. Однако потом все же вышло по-другому. Конечно, выдающийся физик остался верен своему желанию, ибо наука несовместима с внезапными прихотями и вздорными идеями; зато Силади, этот чревоугодник, стоило ему увидеть перед собой еду, не знал удержу.

Сперва он съел пять коржей — мечтательно и сам того не замечая. Затем обнаружил на подносе торт с ореховым кремом. Силади запил торт кружкой пива, и тут ему вдруг пришла мысль: а нет ли в готовом меню маринованного карпа — довольно-таки маловероятное предположение. Ну вот, сказал Силади, уписывая карпа, он, в сущности, и наелся. Правда, он заказал еще лапшу на мясном бульоне и порцию чечевицы с куском копченого мяса, но лишь жевал-клевал без особого аппетита. После этого Силади не взял в рот ни крошки; дома, пояснил он, его ждет горячий ужин. Пора расплачиваться и уходить, сказал он выдающемуся физику, а то матушка — как часовой механизм, стоит ему на каких-нибудь пять минут припоздниться к ужину, и она уже нервничает, прислушивается к звонку.

Силади продиктовал официанту все съеденное и выпитое; он помнил каждое блюдо, заказанное даже пять лет назад. Официант, сосчитав цифры столбиком, положил листок в углу столика и сказал:

— Одиннадцать двадцать.

Великий физик полез было в карман, но тут рука его замерла на полдороге.

— Не хочу вас обидеть, — с извиняющейся улыбкой сказал он, — но, по-моему, должно быть одиннадцать десять.

Официант, слегка покраснев, поспешно спрятал счет и на чистом бланке заново пересчитал колонку цифр. Затем взглянул на великого физика и проговорил:

— Прошу прощения, но все же получается одиннадцать двадцать. — И положил на стол листок с подсчетами.

Конечно, выдающийся физик и не заглянул туда. Разве нужны были ему карандаш и бумага! В его мозгу пронеслись солнечные системы, млечные пути, космические пространства, но именно поэтому он тихим и скромным голосом сказал, что, по его мнению, подсчеты любезнейшего старшего официанта ошибочны. Правильный результат: одиннадцать десять... И добавил со своей тонкой улыбкой:

— Простите, что я спорю с вами. Я — Альберт Эйнштейн. Старший официант оторопело уставился на него.

— Господи, — едва слышно вымолвил он. Да как же он сам-то не догадался! Это характерное лицо не спутаешь ни с одним другим на свете. Почтительно склонясь, он попятился к соседнему столику, дрожащими руками отточил карандаш, затем взял лист бумаги побольше и каллиграфически четким почерком вывел цифры одну под другой. Сложил числа. Затем еще раз. И в третий раз. На лбу у него выступил пот. Он поднялся с места и с подкашивающимися ногами побрел в дальнее помещение пивной. Позвал туда еще одного официанта и господина Фрелиха, владельца пивной. Те принесли целые бумажные простыни, разграфленные на огромные квадраты, и каждый поодиночке произвел подсчеты. Затем, склонясь головами, шепотом принялись совещаться.

— Глубокоуважаемый господин профессор, — обратился к гостю господин Фрелих. — Прямо не решаюсь высказать то, что угнетает меня. Окончательный результат — по нашим примитивным подсчетам — одиннадцать двадцать. Не сочтите это за мелочность с нашей стороны, мы были бы счастливы вообще не брать с вас платы, а принять у себя гостем столь прославленную мировую знаменитость... Однако наш старший официант служит уже тридцать лет и, кстати, является отцом четырех детей. Для него эти десять филлеров — вопрос престижа.

Профессор Эйнштейн понимающе кивал. Он на мгновение

прикрыл глаза и мысленно пробежал взором колонку цифр, начиная с вермута и до чечевицы. А затем вздохнул.

— Дорогие мои друзья, — сказал он. — Я чувствую себя, как в свое время Галилей перед церковным судилищем. Но что поделаешь? Для науки не существует вопросов престижа, и я — хотя у меня и нет детей — точно так же стыдился бы своей ошибки, как и уважаемый господин старший официант... Иными словами, этот спорный вопрос должен быть решен.

Господин Фрëлих согласно кивнул:

— Обслуживающий персонал тоже так считает.

— Пожалуй, беда здесь в т о м , — продолжал вслух свои размышления выдающийся физик, — что мозг наш чересчур обременен числами и задача слишком мала для нас... Нет ли случайно поблизости человека, который не кончал университетов и гимназий и способен выполнить лишь простое сложение? Столь мелкий спор решать лишь карликам.

И что за удача! У «Апостолов» разливает пиво по кружкам глухонемой работник. Его призвали в зал. Усадили за стол. Положили перед ним столбик чисел — все цены от вермута и вплоть до гарнира из чечевицы. Глухонемой пыхтел. Кряхтел. Вздыхал. Обливался потом. Прошло минут двадцать, прежде чем он справился со сложением. Результат он вручил господину Фрëлиху.

Господин Фрëлих не сказал ничего. Бросив взгляд на итоговую сумму, он передал листок старшему официанту, тот в свою очередь передал его другому официанту, который молча положил бумажку перед великим физиком.

Альберт Эйнштейн поднялся, отсчитал деньги, присовокупив богатые чаевые. И со скромнейшей на свете улыбкой сказал: — Господа! Альберт Эйнштейн ошибся. Прощайте.

Все работники заведения, выстроившись шпалерами, почтительно склонились перед пионером новейшей физики. Гости молча вышли из рестораника. На улице Альберт Эйнштейн, который теперь уже не улыбался, а, напротив, скроил весьма озабоченную мину, спросил:

— Какого ты мнения на этот счет, мой друг?

— Я должен поспеть домой к ужину, — сказал Силади. — Но по-моему, этот мир не переделаешь.

Что объявляют по репродуктору?

Все четыре стены в раздевалке от пола до потолка сплошь заняты шкафчиками. Все шкафчики отпираются одним и тем же ключом. А ключом заправляет гардеробщик: запирает кабинку, если посетитель успел надеть плавки, отпирает замок, если клиент желает одеться. Тридцать пять лет он снует взад-вперед вдоль рядов кабинок и любую из них может отыскать с закрытыми глазами.

Иной раз посетителей в бассейне бывает немного; тогда гардеробщик садится передохнуть и слушает транслируемые по репродуктору радиопередачи. А иногда схлестнутся две волны: вновь прибывших посетителей и тех, что собираются уходить. Такой наплыв публики гардеробщик называет «затором», и в эти напряженные моменты он едва управляет. Впрочем, не считая заторов, гардеробщика в его работе не подстерегают никакие неожиданности. Занятие простое, не лишенное приятности и все же трудное — словом, тот вид работы, при котором не обязательно быть человеком.

— Видали, какой затор тут было образовался? — бросает он мне реплику.

— Я наблюдал за вами, господин Шуллер. Вы буквально ни единого человека ждать не заставили.

— Опыт — он, конечно, многое дает. Хотя иной из здешних гардеробщиков, даром что и по годам мне ровня, в такой суматохе наверняка бы голову потерял.

— Вы хотите сказать, что опыт — это еще не все?

— В некоторых случаях — да. По-моему, не каждый пригоден для того, чтобы стать гардеробщиком.

— Вам виднее, господин Шуллер.

— Да что там, скажу вам больше: в нашем деле мало быть просто пригодным. Для того чтобы и при самом большом стечении народа не терять голову, гардеробщику требуются особые качества.

— Какие качества вы имеете в виду, господин Шуллер?

— Присутствие духа, зычный голос, умение решительно — а если потребуется, то и силой — вмешаться... Конечно, возможности для такого вмешательства представляются крайне редко.

— Полагаю, у вас, господин Шуллер, бывали подобные возможности.

— Всего один раз тут возникло такое столпотворение, что не будь аккурат мое дежурство, без давки не обошлось бы.

— Когда же это случилось?

— Когда по репродуктору передали, что объявлена война. К тому же денек выдался дивный, солнечный, и бассейн был переполнен.

В окно раздевалки светило солнце. Сегодня тоже дивная погода, бассейн тоже переполнен, так же громко вещают репродукторы, передавая последние известия.

Господин Шуллер подходит к окну. Прислушивается. Я вопросительно смотрю на него.

— А-а, ничего интересного, — пренебрежительно машет он рукой. — Это где-то в Бенгалии...



Относительность страха

Две мухи — обыкновенные, нормальные домашние мухи, едва отличимые от своих соплеменниц, — иногда сойдутся на потолке какой-нибудь комнаты и, повиснув вниз головой, как повелось, хорошенько отведут душу, подробно рассказав все приятные и неприятные новости.

— Как поживаешь, товарка? — спрашивает одна другую.

— Хуже некуда!

Внимание: мухи — известные любительницы приврать. Их утверждения не следует принимать на веру буквально, однако даже над их преувеличениями стоит призадуматься.

— Да-а, на тебя посмотреть — вид не ахти какой цветущий!

— Было бы с чего цвести! Хочешь послушать?

Муха хотела, и товарка поведала ей, что позавчера, в воскресенье, в самый страшный день ее жизни, греясь на нежарком осеннем солнышке, она мирно посиживала себе перед вновь отстроенным зданием столичного цирка, на конском навозе посреди мостовой, где по случаю выходного дня уличное движение схлынуло.

— И ты еще жалуешься? — удивилась собеседница. — Тут неделями конского навоза не увидишь.

— Дослушай до конца, — сказала другая.

И вот так посиживая, продолжала муха, она вдруг услышала невероятный грохот, оглушительные крики, душераздирающие вопли, топот бегущих людей, и не успела она опомниться, как из вновь отстроенного цирка вырвалось ужасное чудовище, страшилище кошмарное, да как бросится прямо к ней.

— Не тяни, не тяни, а то я от страха с ума сойду, — подогнала ее товарка, дрожа всем телом.

— Я не тяну, но, чтобы успокоиться, все-таки сосчитаю от десяти в обратном порядке. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один... И слава богу! Чудище промчалось — не преувеличивая — в полутора метрах от того навозного шарика, на котором я сидела. Представляешь: я была на волосок от гибели!

— И что это было за чудище? — спросила муха.

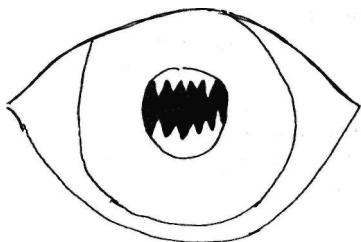
— Л е в , — ответила д р у г а я . — Чего ты так напугалась?

— А я думала — ласточка, — облегченно вздохнув, пробормотала первая.

Обе рассмеялись, распрощались, разлетелись в разные стороны.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

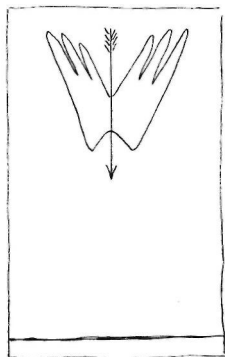
О боже милосердный! Сотвори молитву за нас, робких людишек, кои норовят устрашиться каждого вырывающегося на свободу, прущего напролом и ревя ревущего льва. А ведь опасны ласточки, и только ласточки. Спаси от них наши бранные души. Аминь!



Бессмертие

Он был уже не молод, но все еще в силе; его знали и боялись не только обитатели камышовых зарослей, но и все четвероногие поблизости и вдалеке от камышей. Зрение у него не портилось, и стоило ему с тысячеметровой высоты высмотреть добычу, он обрушивался на нее, подобно молотку, который с единого удара заколачивает гвоздь.

И вот как-то в промежутке между двумя медленными взмахами крыльев у него, цветущего и полного сил, вдруг остановилось сердце. Однако ни зайцы, ни суслики, ни домашняя птица окрестных сел не решались выбраться из своих укрытий, потому что он в угрожающей неподвижности с распростертыми крыльями парил на тысячеметровой высоте, пока не стих ветер, — на две-три минуты пережив смерть.



Кто что умеет



Элек Бард, тридцативосьмилетний банковский кассир, его жена (урожденная Нора Ульрих, преподавательница ритмики, моложе мужа на десять лет) и двое сыновей-гимназистов погожим весенним днем направились в зоологический сад. Однако в сад им попасть не удалось, потому что у ворот стояла огромная толпа народа, а кордон полицейских и пожарных машин и карет «скорой помощи» преграждал путь толпе. От стоявших поблизости они узнали, что из террариума выбралась на волю пятнадцатиметровая кобра, которая в данный момент, свернувшись кольцом, лежит у кассовой будки.

— Простите, — повторяла Нора Бард, проталкиваясь сквозь толпу, пока наконец не подобралась вплотную к чудовищу. Она тихо и вкрадчиво замурлыкала что-то, затем погладила кровожадную змею по голове и вошла в ворота зоологического сада.

Змея послушно проследовала за ней через ворота по газону, вдоль загонов со львами и тиграми, назад к собственной клетке, которую преподавательница ритмики тщательно заперла, после чего неторопливой походкой вернулась к своей семье.

— Как тебе это удалось? — спросил ее муж при всем изумленном народе. — Мне это ничего не стоит, — скромно ответила Нора Бард. — У меня диплом заклинателя змей. — Так почему же ты мне только сейчас говоришь об этом? — вскричал супруг. — Да потому, что ты никогда не спрашивал, — ответила жена и, взяв за руки обоих сыновей, в сопровождении мужа направились к главному входу.

Некоторые варианты нашего самовоплощения

Что греха таить, я, как и все дети, мечтал о разных глупостях. Мне хотелось стать пилотом, машинистом паровоза или по крайней мере самим паровозом. Иной раз я замахивался и на большее: вот, мол, вырасту и сделаюсь венским экспресом!

Наш дальний родственник, аббат Книза, человек образованный и рассудительный, пытался уговорить меня стать речным камешком, да меня и самого привлекала эта завершенность, это округленное спокойствие. А вот мать моя, та, напротив, желала, чтобы я попытался отыскать какую-нибудь связь со временем. «Стать бы тебе яйцом — это и рождение, и кончина одновременно, само быстротечное время, заключенное в хрупкой оболочке. Из яйца может получиться что угодно», — выдвигала свои аргументы моя добрая матушка.

Но вот ведь неисповедимы пути господни. Знаете, кто я сейчас? Песок в песочных часах, должно быть, для того, чтобы угодить и мамину, и своему собственному желанию: ведь песок, он как бы вечность, а песочные часы — исконный символ течения времени. Они изображались еще в египетском письме, где иероглиф «весы» означал: «заходит солнце», «господи, время-то как летит», «птицы слетаются к своим гнездовьям» и «отчего у меня кружится голова, любезнейший господин доктор?»

Тепленькое местечко вроде этого заполучить не так-то легко, но дядюшка Книза, в похвалу ему будь сказано, хотя и не одобрял столь соглашательские жизненные принципы, все же поспособствовал, чтобы меня определили песком на случайную работу. (Под случайной работой подразумевается, что мною пользуются лишь при варке яиц, так что и тут я в какой-

то мере выполнил мамино пожелание.) Долгое время все шло тихо-спокойно, и я уж было начал поговаривать, что, слава богу, мне удалось неплохо устроить свою жизнь, когда неожиданно свалилась беда: я ни с того ни с сего стал сбиваться в комочки, а для песка это такая же катастрофа, как для балетного танцовщика, у которого начинает расти животик. (Но у нас это не связано с возрастом, песок ведь не стареет.)

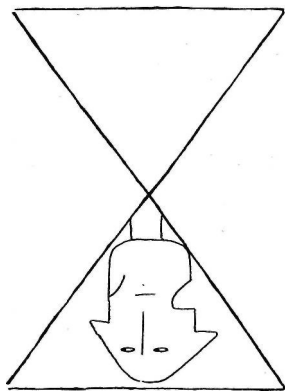
И теперь все чаще случается, что ноги у меня проскальзывают, а бока застревают в узком стеклянном проходе. Разумеется, я пробовал просачиваться наоборот — головою вниз, но результат тот же: долгими минутами, а иногда и часами приходится протискиваться, размахивая руками и ногами, а тем временем яйца перестают вариться, песочные часы останавливаются, ведь вся эта прорва песка у меня над головой пребывает в бездействии. И хотя песчинки молчат — не пикнут и вроде бы не подгоняют меня, но самим своим существованием оказывают на меня моральное давление, которое приводит к нервному расстройству. И тут не скажешь, будто ты не виноват, потому что виноват, да еще как! Ведь с самого начала была во мне эта склонность сбиваться в комки; иными словами, я по сути своей задира и буйан, невыносимый тип и абсолютно не пригодный для того, чтобы быть песком.

В таких случаях какие только мысли не лезут в голову! Увидел бы кто меня сейчас и ни за что бы не поверил, что прежде мне было впору идти хоть безвоздушным пространством в лампочку накаливания. И только представьте себе, была когда-то одна девушка по имени Панны, хорошенькая, но глуповатая, она на батистово-шелковой фабрике работала. «Знаешь что, — сказала она однажды, — пойдём-ка со мной, сделаю я из тебя дамские трусики...» Тогда, помнится, я разобиделся на нее, а сейчас это предложение кажется мне райским блаженством; хотя и быть трусиками тоже не бог весть какая разнообразная жизнь, но все же есть тут некоторая пикантность.

И вот я опять застрял в узкой горловине. Находясь в стесненном положении, довожу до сведения всех, кто возлагал на меня какие-либо надежды, что, хотя от близких своих я получил сплошь неудачные советы, в конечном счете лишь я

один повинен в том, что избрал себе это невзрачное, но надежное жизненное поприще. А осмелюсь я рискнуть, то в случае удачи и притом без всякой протекции — поскольку я лично был знаком с инженером, который проектировал крупнейший в мире океанский пароход, — я мог бы добиться гораздо большего. Ведь если бы вместо «Куин Мэри» водоизмещением в семьдесят тысяч тонн тот инженер вовремя вспомнил обо мне, то сейчас мне не пришлось бы подбирать живот, чтобы протиснуться в это треклятое сужение; подсакивая на высоченных волнах, смело противостоя ветрам и бурям, я горделиво бороздил бы моря и океаны!

Простите, мне удалось протиснуться. Стекаю вниз.

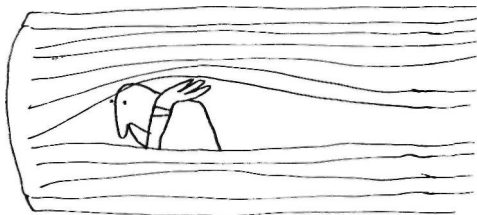


Я покупаю собственную книгу

Когда выходит какая-либо книга, автору причитается тридцать экземпляров — все равно что ничего. Издательство присылает авторские экземпляры на дом, и писатель садится писать посвящения. Жене, родителям, дорогому брату Эде, дорогой тете Этушке, кое-кому из дальних, но зато обидчивых родственников, собратьям по перу, зубному врачу, своей нынешней пассивности и одному, двум, а то и трем предметам былых увлечений. Хотя это и не относится к делу, но следует упомянуть, в каких сложных отношениях по части дарственного этикета находятся между собой писатели. Существуют особые правила церемониала: кому можно отправить экземпляр по почте, а кому следует вручить собственноручно, кому книга дарится «с любовью», «с искренней дружбой», просто «в знак дружбы» или всего лишь с указанием имени дарителя.» Запросто сядешь в лужу, вздумай попытаться разъяснить эти тонкости; единственное, на что у меня хватает ума, так это не пренебрегать ими. Достаточно сказать, что к тому времени, как покончишь с тридцатитомной книжной башней, не только тебе самому ни одного экземпляра не достанется, но и охватывает страх, как бы не обойти кого из добрых людей. И в самом деле, в окошко памяти один за другим бросают камешки обделенные тобою друзья-приятели, кому ты забыл презентовать книгу с дарственной надписью. Вот и в прошлый раз так получилось, что за мной остался невыплаченный долг, и я, проходя по Большому кольцу, заглянул в книжную лавку с намерением купить шесть экземпляров своей книги.

В таких случаях можно сказать: «Добрый день, я — такой-то и такой-то, прошу такую-то и такую-то свою книгу». А можно

сказать следующее: «Прошу такую-то и такую-то книгу такого-то и такого-то автора...» По всей вероятности, форма, которую избирает писатель, проливает свет на его собственный характер; я же — какой бы свет это ни проливалось на меня — избрал второй вариант. Ситуация и без того щекотливая, но так хоть по крайней мере у меня на лбу не написано, что в щекотливой ситуации нахожусь именно я.



Продавщица — женщина лет сорока с жирноватой кожей лица и взлохмаченными черными волосами. Сразу же, с первого жеста, она подчеркивает, что любит книги: сняв с полки требуемую книгу, рукавом халата вытирает обложку.

— Прекрасная книга, — говорит она и протягивает мне томик.

— Правда? — спрашиваю я. — Вы читали?

— Читала, — отвечает она.

— И книга действительно настолько хороша? — спрашиваю я, поскольку такое утверждение приятнее услышать дважды, нежели один раз.

— Хорошая! — решительно заявляет продавщица.

Я верчу книгу в руках, задумчиво перелистываю.

— Тогда дайте мне еще пять штук, — говорю я.

— Пять штук? — переспрашивает она и смотрит на меня.

— Пять, — повторяю я, несколько смущенный.

— Словом, всего шесть штук? — обеспокоенно уточняет она.

— Если найдется, — говорю я.

— Найдется, — бормочет она и замороженно смотрит на меня из-под очков.

Продавщица медленно протягивает руку назад, к полке, где еще два таких же томика подпирают плечом соседние, не мои книги. Обтирает обложку рукавом халата, кладет книги передо мной. И выжидательно смотрит: должно быть, надеется, что я удовольствуюсь тремя экземплярами.

Я же, однако, никак не могу удовольствоваться таким количеством, поскольку мне требуется шесть. Поочередно беря книги, я читаю титульный лист и, убедившись, что на каждом из них текст одинаковый слово в слово, складываю их стопкой. И жду.

— Значит, вы желаете еще три экземпляра?

— Да, пожалуйста.

— Для какой-нибудь школы? — пытается она прощупать мои намерения.

— Нет, — говорю я. — Просто так, для себя.

— Понятно, — говорит она нервно и неуверенно.

Поведение женщины меняется прямо на глазах. Она придвигает стремянку, взбирается на самый верх и спускается обратно с охапкой книг. Ни у одной из них она не вытирает обложку. Выписывая чек, несколько раз бросает на меня из-под очков испытующий взгляд. Даже нос мой ей не нравится. Очевидно, по ее мнению, я замыслил нечто дурное, но вот что у меня на уме, она не знает: ведь книга — особый вид собственности, и обладать ею можно в единственном числе. Она не пригодна ни к какому накопительству, спекулировать ею нельзя. Одна книга — все равно что сто. Ее можно прочесть бесчисленное количество раз и дать прочесть другим; с книгой много чего можно делать, вот только два или несколько экземпляров ее приобретать нельзя. Какую же хитрость я замышляю?

— Должно быть, вы — библиотечный работник? — спрашивает продавщица с надеждой.

— Нет, что вы! — говорю я и краснею.

Я беру чек, а когда возвращаюсь от окошечка кассы, мне вспоминается доктор У., которого прошлой ночью пришлось вызвать к нашему ребенку, а деньги за визит он взять отказался. К сожалению, без седьмого экземпляра не обойтись.

Я не решаюсь посмотреть продавщице в глаза и лишь искоса

бросаю на нее взгляд. Вижу ее взволнованное лицо, сбившиеся на лоб волосы и очки на носу, сползшие набок, как смертельно раненный гусар в седле.

— Не угодно ли еще что-нибудь? — дрожащим голосом спрашивает она.

— Спасибо, н е т , — говорю я.

Сложив книги в портфель, я прощаюсь.

Наискосок, на противоположной стороне улицы, находится еще один книжный магазин. Я же, предприняв широкий обходной маневр, направляюсь в противоположную сторону, поскольку, оглянувшись, даже сквозь двойное стекло входной двери и очков вижу устремленный на меня мрачный взгляд. Я стараюсь смешаться с толпой и скрыться в многолюдном потоке.

Психология потребительского общества

Дивная погода. Лучи заходящего солнца пробиваются между нью-йоркскими небоскребами. Я прогуливаюсь по Второй авеню. Чувствую себя отлично. Душевное равновесие — полнейшее. Мне ничего не надо. Деньги у меня есть, но покупать ничего не хочется. Разве что взять мороженое? Хотя мне и мороженого не надо. У меня есть все, что нужно.

И тут наступает неожиданный поворот. Прогулка заводит меня дальше, на Восемьдесят шестую улицу. У одной из витрин ноги мои как бы сами собой останавливаются. Что же привлекло мое внимание? Радиоприемники, проигрыватели, телевизоры и магнитофоны? Нет, они меня не интересуют, все это вещи, которые давным-давно имеются у меня дома. Зато в центре витрины видна освещенная рекламная табличка:

ТОЛЬКО У НАС!
ТОЛЬКО СЕГОДНЯ!
ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС!

Я перечитываю текст рекламы. Еще раз. И еще раз. Мне давно уже стало ясно: все, что создается руками человека, может оказаться заурядной продукцией или бракованным товаром, но может быть и художественным шедевром. Эти шесть слов — с точки зрения рекламных текстов — стоят шекспировских сонетов или какой-либо из римских элегий Гёте. У текста была единственная цель: заставить вас взглянуть на витрину. Казалось бы, пустячок, а цель достигнута; в своем роде это не меньшее совершенство, чем в живописи Мона Лиза. Стало быть, шедевр чистой воды.

Я подхожу ближе. Под табличкой, на плоской мраморной подставке, какой-то маленький приборчик размером с два

спичечных коробка, только еще более плоский. Он вполне способен поместиться на ладони. Что бы это могло быть? Я подхожу еще ближе.

Электронно-счетная машинка.

Производит все основные операции.

Цена: 8 долларов. Срок гарантии — два года!

Итак, это вычислительная машинка. Да не простая, а электронная. Я испытываю легкое головокружение. А почему же у меня нет электронно-счетной машинки? Правда, мой труд — писательское ремесло — не слишком-то нуждается в вычислениях и подсчетах. Но кому дано прозреть будущее? А вдруг да рано или поздно мне до зарезу понадобится слагать, вычитать, умножать, делить, и тогда хоть бейся головой об стену, что под рукой нет электронно-счетной машинки. Как же быть? Цена прибора — восемь долларов, в пересчете на наши деньги 160 форинтов. В Будапеште на них не купишь и одного ботинка, не то что пары обуви, а тут можно приобрести этакое чудесное устройство, да еще с гарантией на два года. Я больше не раздумываю. Точно притянутый внезапно магнитом, я вхожу в магазин, здороваюсь.

Меня встречают четверо продавцов. Впрочем, «встречают» — не то слово. Они улыбаются мне так, словно ждут не дождутся моего прихода. Приветствуют меня, как папского легата на съезде по вопросу о евхаристии. Две девушки, женщина-толстуха, красавец негр. Все встают, все улыбаются, — очевидно, есть во мне нечто привлекательное. А может, я излучаю некую колдовскую силу, или вдруг да я на самом деле симпатичнее, чем считал с ебя, — красавец вроде этого молодого негра с фигурой атлета; он придвигает мне стул, усаживает меня со всей предупредительностью и, широким жестом обведя магазинные полки, интересуется, каковы мои пожелания.

— Хотелось бы микрокалькулятор за восемь долларов.

Продавец тотчас приносит. Демонстрирует прибор в действии. Нажимает крошечные клавиши, делит, умножает, вычитает и складывает. Передает машинку мне, чтобы я сам мог попробовать. Я лихорадочно произвожу вычислительные

операции. Прибор действует безукоризненно. Его укладывают в футляр, вручают мне инструкцию с правилами пользования, а заодно и двухгодичную гарантию. Я расплачиваюсь. Красавец негр провожает меня до дверей и мимоходом бросает:

— Излишне напоминать, что десятичными дробями калькулятор оперирует с таким же успехом, как и целыми. Но з а т о , — добавляет о н , — запоминающего устройства у него нет.

Нет, так нет. В конце концов я же как-то существую, хотя мои способности к запоминанию равнозначны нулю. Да и вообще, если разобраться: к чему счетной машине запоминающее устройство?

Я спешу домой. Достая микрокалькулятор и демонстрирую все его чудеса своей жене. Мы собирались пойти в кино, но остаемся дома. Вычитаем, умножаем. Делим десятичные дроби на десятичные дроби. Наутро я просыпаюсь счастливым, и лишь медленно, постепенно в душу закрадывается подозрение. Ладно, я согласен, что на этом свете нет ничего безупречного. И все же почему у моего калькулятора нет запоминающего устройства? Следует признаться, что я и понятия не имею, как оно могло бы быть использовано, но если уж оно существует, это запоминающее устройство, то почему его нет у моей машинки? Конечно, я знаю, что на родине друзья и без того примут микрокалькулятор за чудо, но вдруг да они прознают, что существуют вычислительные приборы совершеннее моего? Меня мучает совесть, к тому же если уж раз в жизни приобретаешь счетную машину, то хочется, чтобы она была безукоризненной.

Отступать некуда. Я спускаюсь на улицу, микрокалькулятор в кармане. Дважды обхожу кругом тот магазинчик. Наконец решаюсь войти. Мой приятель, красавец негр, с встревоженным лицом спешит мне навстречу.

— Вы снова к нам, сэръ? Уж не обнаружилось ли какой неполадки? Если у вас есть претензии, мы обменяем прибор, хотя подобного случая в нашей практике еще не было.

— Претензий у меня никаких нет. Но если можно, я хотел бы обменять его на такой микрокалькулятор, у которого есть и запоминающее устройство.

— Извольте, со всем удовольствием. Если вы доплатите три доллара, мы охотно обменяем вам его на прибор, который, кстати, умеет извлекать корни и возводить в степень.

Я доплачиваю. Получаю другой микрокалькулятор, который по размеру несколько больше предыдущего, примерно такой, как роман Мора Йокаи «Новый землевладелец». Зато он извлекает корни, возводит в степень и снабжен запоминающим устройством; я решаю тотчас опробовать его за столиком баварской пивной по соседству. И мне не приходится разочароваться! Достаточно нажать на клавиш, и моя электронно-счетная машина на крохотном световом табло возрождает из забвения (всего за каких-то три доллара!) любую ранее произведенную операцию вплоть до извлечения корня. Я горд, удовлетворен, успокоен; за небольшую приплату меня осчастливили на весь день.

Но только на день, потому что вечером жена заметила:

— Как мы провезем ее через границу? Не слишком ли велика эта твоя машина?

И в самом деле: первая машинка вполне могла бы уместиться в нагрудном кармашке, а эта даже боковой карман оттопыривает. Как бы не вышло неприятностей... И тут из мрака моей давно бездействующей памяти вдруг высветилось короткое сообщение, когда-то прочитанное мною в газете «Непсабадшаг». На пограничном пункте в Хедешхаломе задержали австрийского гражданина, который пытался нелегально провезти в своей автомашине дюжину микрокалькуляторов стоимостью в 36 000 форинтов каждый... Конечно, шутка ли сказать: то, что я приобрел здесь за 11 долларов, то бишь за 220 форинтов, в Хедешхаломе ценится в тридцать шесть тысяч. Но я даже этому не мог радоваться — какой уж из меня контрабандист! Я лег спать. Долго метался в постели, и все мне чудились кошмары. Вот я подхожу к таможенному контролю на Ферихедьском аэродроме — легкой походкой, но не спеша и не с ухмылкой, а с невинной улыбкой. Ну, и чего я этим добьюсь? Венгерские таможенники предельно вежливы, но их не проведешь. И мне даже здесь, во мраке нью-йоркской ночи, слышалось: «Уважаемого пассажира с оттопыренными кар-

манами просим пройти личный досмотр». Я с трудом уснул, а наутро, проснувшись в поту, тотчас поспешил на Восемьдесят шестую улицу.

Меня встретили как старого друга, чуть ли не члена семьи. «Наш самый приятный покупатель микрокалькуляторов», — сказала толстуха за кассой. Затем продавцы поинтересовались, каково будет мое желание.

— Ж е л а ю , — сказал я , — микрокалькулятор таких же размеров, как был самый первый, но с запоминающим устройством и чтобы он умел извлекать корни и возводить в степень...

— Можете не продолжать, уважаемый с э р , — подключился мой приятель-негр. — Если вы согласны приплатить еще три доллара, то получите именно ту вещь, какую желаете.

Я приплатил. Получил покупку. Сунул в нагрудный кармашек, сел за столик в баварской пивной. Машинка была маленькая, с пару спичечных коробков, только еще более плоская. Умеет делить и умножать, извлекать корни и возводить в степень. Я выпил еще кружку пива. Теперь можно было почитать на лаврах: я приобрел вещь, о которой никогда не мечтал, зато теперь она у меня есть, и весь мир принадлежит мне. Я опять сунул микрокалькулятор в нагрудный кармашек; там он будет находиться и в тот момент, когда я, не привлекая к себе внимания, спокойно прошествую мимо таможенников на Ферихедьском аэродроме.

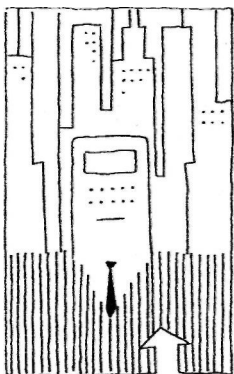
Там он и находился. Но лучше бы его вообще там не было! По дороге, между Нью-Йорком и Будапештом, я поначалу охладел к нему, затем разочаровался в нем, а под конец мой микрокалькулятор и вовсе опостылел мне. Дело в том, что, на свою беду, я еще в заокеанском аэропорту купил вечерний выпуск «Нью-Йорк пост». Перелистываю это я газету и первым делом натыкаюсь на объявление:

**ПОКУПАЙТЕ СОВРЕМЕННУЮ СЧЕТНУЮ МАШИНУ!
НОВЫЙ ВЫПУСК — СЕРИЯ НР-32Е — ОБЛАДАЕТ
ВОСЕМЬЮ ЗАПОМИНАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ!**

Я оцепенел, окаменел в то же мгновение. Но это еще не все! Микрокалькулятор НР-32Е может быть запрограммирован

на сорок две операции. К тому же он решает условные и вариационные программы, и в довершение всего результат не только может быть прочитан на освещенной шкале, но и увековечен на бумажной ленте. Сложив газету, я задал себе вопрос: если все это правда, то ради чего мне жить?

И меня осенило: есть у меня цель жизни! Только бы снова попасть к приятелю-негру на Восемьдесят шестую улицу, где меня любят, уважают, знают мой вкус и запросы. Правда, такое путешествие влетит в копейчку, но если бы кто-либо из моих друзей на родине — а может, один из уважаемых читателей этих строк — перекупил бы у меня превосходного качества микрокалькулятор (цена — 36 000 форинтов), я сел бы на ближайший самолет до Нью-Йорка и на Восемьдесят шестой улице, приплатив очередные 3 доллара, справил бы себе прибор НР-32Е. Даю торжественную клятву, что в оставшиеся годы жизни я не стану прибегать ни к какому товарообмену (ни с доплатой, ни без оной), не возжелаю никакой другой счетной машинки (ни меньше, ни больше, ни совершеннее этой) и пребуду тихим, добродушным, непритязательным и счастливым человеком — в точности таким, как я был в ту пору, когда вообще не обладал микрокалькулятором.



Магнитофонная запись

— Сейчас вечер, мы уже отужинали, время, должно быть, идет к девяти...

— Еще только половина девятого.

— Маму — как доктор велел — мы ненадолго усадили в кресло. Так что сейчас мы все втроем находимся в living-room.

— Living-room — это гостиная.

— Мы условились, что вместо обычного рождественского письма запишем наши праздничные пожелания на магнитофонную ленту, и ты по крайней мере сможешь услышать голос матери.

— И сестры, и зятя тоже.

— Словом, ты услышишь наши голоса, но в первую очередь мамин. К тому же ей трудно писать, лежа в постели.

— Не в том дело, что мне трудно писать, просто при письме буквы расползаются вкривь и вкось.

— Не вздумай пугаться, как только мама чуть-чуть окрепнет, почерк у нее опять наладится... Пиллеры завтра улетают в Пешт, они возьмут с собой эту запись и передадут тебе еще до рождества. Надеемся, что ты будешь рад.

— Это тот самый Пиллер, который однажды съел кузнечика.

— Мари, ну что ты без конца перебиваешь!.. Ведь он все равно не знает, о ком идет речь.

— Нет, знает, ведь я со всеми подробностями расписала ему эту историю, как мы жарили сало на костре...

— Все равно это не важно. И Пиллеры могут обидеться, если им вдруг вздумается прослушать запись.

— С какой стати им обижаться, если они сами всем и каж-

дому рассказывают про этого кузнечика!.. И кроме того, у них великолепное чувство юмора.

— Это тоже к делу не относится. Мы собрались здесь для того, чтобы дать твоей матери возможность рассказать сыну, как она и что с ней, сообщить, чем порадовал нас доктор, и передать свои рождественские пожелания... Пожалуйста, мама. Говорите сюда, в микрофон.

— Он и голоса-то моего не узнает.

— Вы, мама, немного ослабли, но голос у вас совершенно не изменился.

— Только охрип.

— Клянусь, мамочка, голос у тебя ничуть не охрипший, просто ты внушаешь себе это, как и многое другое... Правда, Мики?

— Голос у вас абсолютно не изменился, мама. А теперь, пожалуйста, расскажите, что сказал доктор. Пусть ваш сын порадуетя.

— Сказал, что мне надо как следует питаться. Но я не могу есть, совсем нет аппетита, и какой смысл заставлять себя, если все равно наизнанку вывернет.

— Ну уж это неправда! Ведь сегодня в обед ты съела тарелку супа, причем с аппетитом.

— А как состояние ваше улучшится, так и аппетит придет.

— Но только вот состояние мое не улучшается.

— И вы, мама, заявляете это именно сегодня, вместо того чтобы порадовать сына доброй вестью! Ну, так что же сказал доктор?

— Что в моче у меня не обнаружили сахара.

— Слышишь? У твоей матери абсолютно нормальная моча!

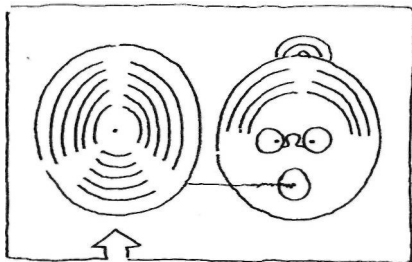
— То-то радости теперь будет в Пеште!

— Чему тут радоваться? С мочой у меня всегда все было в порядке, а вот даже в постели сесть сил не хватает. Если бы дети не помогали...

— К чему об этом говорить, мама! Вам станет лучше, вы сможете и сидеть, и ходить. Скоро рождество, и в моче у вас нет сахара, а вы, вместо того чтобы радоваться этому, еще и сына огорчить норовите.

- Сынок, я вовсе не хочу огорчать тебя!
- Тогда расскажите ему о рождестве.
- А что тут рассказывать?
- Ну, например, что Мики уже купил елку.
- Верно, сынок, Мики уже принес елку... Он обо всем заботится, ведь и до этого он додумался, чтобы послать тебе весточку живым словом, и вообще дети — просто золото, делают для меня все возможное, так что не расстраивайся, что я так далеко.
- А когда наступит праздник, мысленно мы будем вместе.
- Вот только трудно привыкнуть к тому, что здесь рождество бывает летом, в самую жару, и когда зажигаем свечи, то в окно светит солнце. А красавицу елку приходится держать в подвале, потому что на балконе она бы за один день осыпалась.
- Все так. И все же рождество и здесь прекрасно.
- Вот только снега нет.
- Иногда и дома в эту пору снега не бывает.
- Но здесь его никогда не бывает.
- Ты так говоришь, мама, будто ты вообще когда-нибудь любила снег! И в Пеште, где снег, между прочим, тоже не любят, еще подумают, что ты жалуешься.
- Помилуй, Мари, что ты говоришь! Я благодарю бога за то, что у меня такой прекрасный зять, и о дочери одно могу сказать, что она душу за меня отдать готова...
- Сейчас не к месту нас расхваливать, мама.
- Да как же не расхваливать, если вы заслуживаете всяческих похвал, что ты, что Мари друг перед дружкой стараетесь, чтобы я ни в чем нужды не знала. Кто же виноват, что мне теперь ничего не надо? А день у меня, сынок, начинается с того, что Мари меня умывает, а затем выспрашивает, чего бы мне хотелось на обед, и я, чтобы успокоить ее, называю первое попавшееся блюдо. В прошлую среду, например, заказала тушеную телятину с галушками.
- А в четверг — картофельные клецки.
- Как-то раз ты попросила сварить уху, но из морской рыбы она не та получилась...
- Лапша с капустой тоже в желудке не задержалась, хотя ты ее и не из морской рыбы стряпала.

- Зато слоеный пирог с вишней тебе пришлось по вкусу.
- Ты будешь смеяться, сынок, но однажды я попросила приготовить вареники, потому что в детстве это было твое любимое блюдо.
- А как-то раз тебе захотелось чечевичной похлебки.
- С копченой грудинкой.
- Копченой грудинки здесь нет. Зато куриный суп а-ля Уйхази я приготовить сумела.
- И блинчики с творогом и изюмом.
- Только они неудачные вышли, творог здесь не тот.
- Не важно, Мари. Все равно я на них и смотреть-то не могла.
- И к фасолевому супу со сметаной ты даже не притронулась, а ведь я все овощи через сито протерла.
- Ну, хватит об этом, Мари. И вас, мама, я тоже попрошу больше не говорить о еде, есть вещи и поважнее. Какое счастье, что моча у вас нормальная! А теперь скажите, что бы вам хотелось пожелать сыну.



- Что я должна сказать?
- Ну, что на ум придет, то и скажите.
- Я уж вроде бы все сказала.
- Да ведь вы, в сущности, к нему и не обращались!
- Трудно так разговаривать, дети мои.
- Если хотите, мы можем выйти.
- У меня нет от вас секретов.
- Тогда скажите что-нибудь своему сыну!

- Какой уж тут разговор, когда мы на разных концах света!
- Ну хотя бы пожелайте ему счастливого рождества!
- Желаю тебе счастливого рождества, сынок.

Пиллеры — точнее говоря, Геза Пиллер с женой, фамилию их я плохо разобрал по магнитофонной записи — прибыли в Будапешт за восемь дней до рождества. Вечером в одном из будайских ресторанчиков они рассказали мне историю с кузнечиком. Жарить, по родному обычаю, сало на костре были приглашены исключительно одни венгры. Он, Пиллер, следил за кусочком сала, шкворчащим над раскаленными углями, и не заметил, что на ломоть хлеба, который он держал в левой руке, вспрыгнул кузнечик. Положив на хлеб сочащееся растопленным жирком сало, он отправил его в рот вместе с кузнечиком.

Относительно самочувствия моей матери Пиллеры — поскольку они улетели домой на следующий день после записи того разговора — ничего нового сообщить не могли.

Кто сочиняет «рассказы-минутки» — я или вы?

(Подлинные тексты)

Гуманизм

I. Истязание животных

1. Любой вид жестокости: уколы острыми предметами, нанесение ожогов, связывание путами.
2. Запугивание, нанесение побоев, намеренные попытки дразнить животное.
3. Использование больных животных на физических работах, принуждение к труду, превышающему силы животного, отказ в еде, питье и лечении.
4. Изгнание из дома, истребление, повешение состарившегося животного.
5. Нежелание прекратить при помощи медицинского вмешательства бессмысленные страдания неизлечимо больного животного.
6. Дрессировка путем причинения животному боли и мучений.
7. Транспортировка в тесных условиях.
8. Забой животных без одурманивания или наркоза.

(Устав Общества охраны животных)

II. Преступления, совершенные человеком против человека

Всего:	26 742
В том числе:	
Убийство	116
Покушение на убийство	213
Нанесение телесных повреждений	6 940
Несчастные случаи, вызываемые родом занятий	450
Транспортные нарушения	14 612
Хулиганство	3 156
12*	179

III. На помощь!

Основным условием эффективности первой помощи является быстрота.

Наше вмешательство должно быть уверенным, решительным и оказывать успокаивающее воздействие.

Необходимо удалить с места происшествия собравшуюся толпу за исключением одного-двух уравновешенных людей, которые в дальнейшем могут нам пригодиться.

Перед оказанием помощи необходимо убедиться, жив ли пострадавший, а следовательно, нужна ли ему помощь. Этот вопрос может быть решен путем установления признаков жизни или смерти.

Каковы признаки жизни?

Наиболее наглядные признаки жизни — это движение, дыхание, сердечная деятельность. Число ударов пульса при нормальных условиях составляет 70—74 в минуту.

Каковы признаки смерти?

Верными признаками смерти можно считать:

а) трупные пятна; б) окоченение трупа; в) разложение трупа; г) такое повреждение, при котором жизнь заведомо невозможна, как, например, отделенная от туловища голова.

Если ни одного из этих признаков не наблюдается, то пострадавшего с бледным лицом укладывают в горизонтальном положении, однако пострадавшего с лиловым или багровым цветом лица следует привести в полусидячее положение.

После этого можно приступить к оказанию первой помощи.

(Из учебной программы по оказанию первой помощи)

IV. Прибежище

Высота отдельных общественных зданий Будапешта над уровнем моря:

Дом для умалишенных на Леопольдовом поле 215 метров

(«Будапешт с 1873 года и до наших дней»)

Путешествуйте как можно больше!

Личные впечатления, приобретенные во время путешествия, зачастую дают не меньше, чем урок географии или истории!

Однодневные путешествия:

14 января.	Эгер, праздник убоя свиньи	185	форинтов
21 «—»	Тэк, праздник убоя свиньи	230	форинтов
11 февраля.	Зебегень, праздник убоя свиньи	143	форинта
25 «—»	Эгер, праздник убоя свиньи	282	форинта
4 марта.	Тэк, праздник убоя свиньи	230	форинтов
11 «—»	Зебегень, праздник убоя свиньи	143	форинта
18 «—»	Эстергом, праздник убоя свиньи	185	форинтов
25 «—»	Тэк, праздник убоя свиньи	230	форинтов

ВАС ПРИГЛАШАЕТ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
«ВОЛАН ТУРИСТ»!

(Объявление из газеты «Ненсабадишаг», 1 апреля 1979)

Абсурдное наследие

На неопределенное время отсрочена выставка, планируемая в Лувре по случаю годовщины со дня смерти Пикассо; материалы к выставке были отобраны из числа 44 поздних полотен, обнаруженных в наследии художника. Коллекция была исследована комиссией экспертов. Относительно большинства полотен было установлено, что это несомненно фальсификация.

(Газета «Le Monde», 1977)

Мадьярская Кассандра

Скорбя душою, решил я, о возлюбленные братья мои, в нынешней проповеди своей вкратце возвестить вам: в чем

причина того, что радости жизни подчас наполняют уста наши горечью; в чем причина того, что сердца наши подчас остаются глухи к радости и сама радость оборачивается печалью?

Люди суть невежественны и в невежестве своем зачастую попирают светлые надежды наши, по неосмотрительности своей наступают на живое сердце, душу нашу. Люди сами поспешают ко гибели своей и в поспешности сей преобольно и нас задевают. Люди суть хитры и лукавы и с ловкостью умеют использовать нас в своих устремлениях — вопреки нашим собственным устремлениям. Люди суть испорчены и в испорченности своей ко лжи прибегают, обращают супротив нас ако злоязычие, тако и оружие, и лишь случая ищут, дабы причинить ближнему огорчение. Спросим себя: наберется ли у нас столько недругов, скольким людям мы сами являемся врагами? Столько ли у нас клеветников, на скольких мы сами клеветаем? Столько ли завистников, скольким мы сами завидуем? Духом весьма слабые, при шорохе листьев мним, будто дерево с корнем на нас рушится, при дуновении ветерка страшимся, будто небеса над главою у нас разверзаются. Вот в чем причина, братья мои, что даже радость подчас печалью для нас оборачивается.

(Церковные проповеди Адама Киша, 1837)

Премия имени Кошута и собака

I.

Дорогой господин доктор!

Прошу прощения, что в условленный час не могу быть дома, но я должен присутствовать в парламенте при вручении мне награды. У меня к Вам следующие вопросы:

1. У собаки перед мочеиспусканием сильно выпячивается мочевого пузырь. (Припухлость выступает под кожей.) Это плохо?
2. У нее очень линяет шерсть.
3. Пора делать ей прививку против бешенства или еще можно повременить?

Заранее благодарю и еще раз прошу любезно простить меня.

II.

Дорогой господин писатель!

1. Не имеет значения, если моча не окрашена кровью.
2. Весенняя линька.
3. Можно бы еще повременить, но поскольку я все равно заходил, то заодно сделал Вашей собаке и прививку против бешенства.

От всей души поздравляю Вас с высокой правительственной наградой и желаю здоровья как Вам, так и Вашей собаке.

P.S. Подозреваю, что у Вашей собаки глисты. Если это так, то, пожалуйста, дайте ей прилагаемый здесь арекалин, а затем, чтобы ее не стошнило, в течение пятнадцати минут отвлекайте ее внимание (забавы, игра в мяч, прогулка). Это лечение — в том случае, если глисты в стуле не обнаружены, — излишне.

Целую ручки Вашей супруге.

Лишнее зачеркнуть

«ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»

Общественно-научный журнал.

Адрес редакции: VII, просп. Ленина, 5

10 февр. 1970 г.

Дорогой товарищ Эркень!
Дорогая

Сообщаем, что отписки Вашей статьи _____ готовы.
научной работы

Очень просим ответить, желаете ли Вы просмотреть корректуру на месте, в редакции а также получить причитающийся у себя дома

Вам гонорар в кассе редакции _____ . Относительно дня выплаты известим Вас по телефону.
в виде почтового отправления

С товарищеским приветом

Секретариат редакции

В редакцию журнала «ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»

Дорогой товарищ Шюкёшд!
Дорогая

Корректуру получил Обнаруженные в ней типографские
не получил
опечатки выправил Высылаю по почте незамедлительно.
не исправил

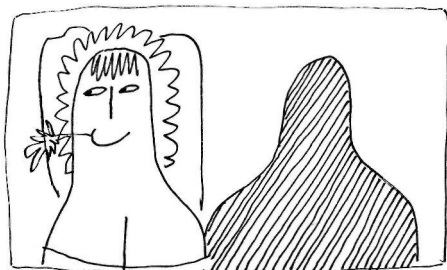
Причитающийся мне гонорар прошу перечислить
па благотворительные цели
на мой домашний адрес

Сотрудников редакции в упор не вижу
сердечно приветствую

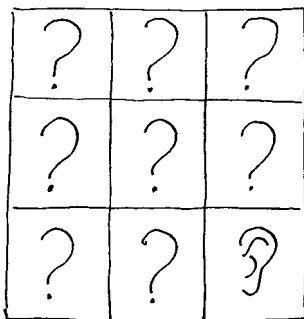
Уважающий Вас Иштван Эркень
Уважающая

Словесные выкрутасы

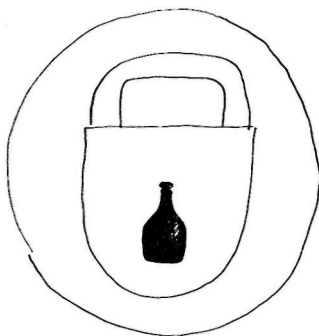
Szóvirágok



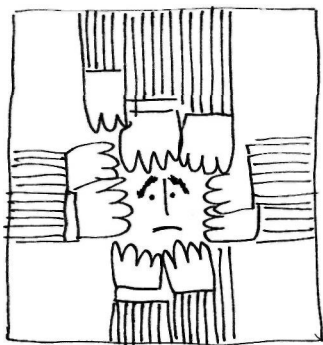
Пользуюсь случаем передать благодарность всем,
кто выразил наилучшие пожелания
по случаю смерти моего мужа.



Не попадалось ли кому мое двухлетнее,
обросшее длинной шерстью
и отзывающееся на кличку Золи
воспаление среднего уха?



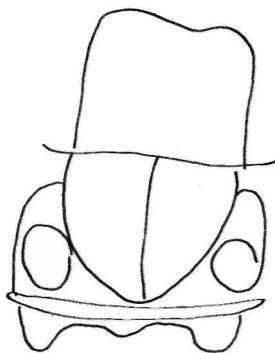
Пьяных покойников не обслуживаем!



Товарищеская встреча

20-го числа сего месяца приглашаю на товарищескую
встречу в ресторан городского парка всех тех,
кто десять лет назад в том же самом ресторане
принял личное участие
в моем избиении насмерть.

Покойный Б. Ордоди



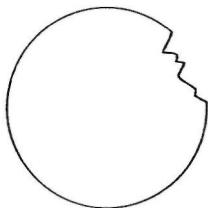
Почему «фольксваген» не может быть счастливым?

Разбрасывать по дорожкам
бумажные деньги
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Осторожно!
Злая калитка!



Воззвание к гражданам



ГРАЖДАНЕ!

Кто может утешить этот круг с небольшим врожденным недостатком?

Содержание

- 5 *Т. Воронкина.* Предисловие
- 10 О гротеске
- 15 Последний поезд
- 28 Море волнуется...
- 35 Царевна иерусалимская
- 64 Обратное превращение
- 74 О, сладостная, сладостная!..
- 99 «Сибирская куница»
- 131 Ячмень
- 143 РАССКАЗЫ-МИНУТКИ
- 145 Способ употребления
- 146 В провинции
- 150 Деревенская хата...
- 152 Математика
- 155 Что объявляют по репродуктору?
- 157 Относительность страха
- 159 Бессмертие
- 160 Кто что умеет
- 161 Некоторые варианты нашего самовоплощения
- 164 Я покупаю собственную книгу
- 168 Психология потребительского общества
- 174 Магнитофонная запись
- 179 Кто сочиняет «рассказы-минутки»
- 185 СЛОВЕСНЫЕ ВЫКРУТАСЫ

Эркень И.

Э78

Путь к гротеску: Рассказы / Предисл. и пер. с венг. Т. Воронкиной. Сост. О. Кокорина и А. Ковача. — М.: Известия, 1984. — 192 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

Темы рассказов, представленных в сборнике, характерны для всего творчества И. Эркень. Писателя волнуют проблемы ответственности и нравственного выбора, бескомпромиссности и духовной стойкости, гражданского мужества и высокого гуманизма. Эти же проблемы находят свое продолжение в миниатюрах названных автором «рассказами-минутками». Сборник знакомит с той частью наследия писателя, которая до сих пор оставалась неизвестной советскому читателю.

Э $\frac{4703000000-003}{074(02)-84}$ 92—84

ББК 84. 4Вн
И(Венг)

ИШТВАН ЭРКЕНЬ ПУТЬ К ГРОТЕСКУ

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *И. Кивель*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 859

Сдано в набор 30.11.83. Подписано в печать 28.05.84.
Формат 70X100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура
«Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,8. Уч.-изд. л. 8,84.
Тираж 50 000 экз. Заказ № 1091. Цена 1 р.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.
